



Анатолий
Рубин

**Коричневые
и красные
сапоги**

АНАТОЛИЙ РУБИН



Автор (род. в 1928 г.) родился в еврейской традиционной семье в Минске, но образование получил исключительно советское. Во время вторжения немцев в Советский Союз ему было 13 лет. Он описывает события в гетто и уничтожение евреев в Минске, свою жизнь как "христианского" мальчика в глухих белорусских деревнях, антисемитскую атмосферу в партизанских отрядах. После войны закончил Институт физической культуры в Минске и стал инструктором по спорту. Он лично чувствовал

усиление антисемитизма в окружающей среде. Основание еврейского государства усилило чувство отчужденности и привело его к поискам своего еврейского самосознания. Он искал и нашел старые книги на русском языке на еврейские и сионистские темы, и полученную информацию и идеи старался распространять среди еврейской молодежи.

После ареста и следствия был осужден к шести годам лишения свободы. После освобождения прибыл в Израиль.

Сочинение написано толково и дает типичную картину судьбы евреев в Восточной Европе во время и после катастрофы. (Выписка из протокола заседания жюри.)

Девиз: Страницы пережитого

НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ

Детство и начало войны

Помню себя примерно с пятилетнего возраста. Одна большая комната, перегороженная огромным старинным шкафом. Большая кухня с русской печью. Мебель вся старая, неуклю-

жая. Во всем чувствовался недостаток. Семья наша состояла из шести человек. Отец властно навязывал свою религиозность всей семье. Остальным членам семьи религия была чужда, и они выполняли некоторые обряды только ради него. Как правило, дети, подростки тянутся к сильным, героическим, импозантным личностям и стараются быть похожими на них. Даже до Второй мировой войны, когда в Советском Союзе существовала еврейская литература, газеты и театры, в учебниках, фильмах, в художественной литературе русский был воплощением всех добродетелей. Он и могуч, он и мудр, он и великодушен, он и героичен. Еврей же, даже положительный, был хозяйственником, торговцем или, в лучшем случае, врачом. Меня, как и многих моих сверстников, естественно, притягивал героический образ, и я старался быть похожим на русских, тем более, что большинство моих товарищей и в школе, и во дворе были русские.

Чтобы быть здоровым, сильным и независимым, я еще в детстве начал заниматься спортом. Регулярно занимался гимнастикой дома, а потом поступил в спортивную секцию. Любил читать, особенно книги военные и исторические. С детства старался воспитать в себе силу воли. Заставлял себя прыгать с крыши сарая или из окна класса на втором этаже. Прыгал в воду, не умея плавать. Но была у меня одна слабость — жалость ко всему живому. Например, когда вынимали живую рыбу из воды, я плакал. В дальнейшем, в войну, я понял, что еврею надо быть жестче. Когда я жил в деревне на оккупированной территории, я заставлял себя резать овец, телят, отрубать головы гусям и хотел таким образом уничтожить в себе эту слабость, мешавшую мне в то время.

Война застала меня в пионерском лагере в семи километрах от Минска, в поселке Дрозды. Мне было тогда 13 лет. Нас начали готовить к эвакуации. Раздали кое-что из продуктов. Но назавтра обнаружили, что в лагере остались лишь дети, часть работников кухни и сторожа. Остальные все разбежались. Началась паника. В это время к моему товарищу пришла мать забрать его из лагеря. Я присоединился к ним, и мы вместе пошли в Минск. Потом я узнал, что вскоре после моего ухода приходили за мной моя мать и

старшая сестра Тамара. Придя в Минск, я увидел, что на месте нашего дома остались лишь тлеющие головни. Кое-где лежали вздутые трупы, среди них были трупы наших соседей. Я пошел вместе с людским потоком на Восток. Шли весь вечер, всю ночь. Изнемогавшие люди бросали свои жалкие пожитки, которые они захватили из дому, если дом еще не сгорел до этого. Все время нас обстреливали немецкие штурмовики, и мы бросались враспынную в поле или в лес и ложились. Некоторые так и не поднялись. Позже нас останавливали люди в советской военной форме, отбирали мужчин, особенно стриженных, так как это был верный признак, что они военные, и уводили в лес или же в овраг, и оттуда вскоре доносились выстрелы. Потом мы узнали, что это были немецкие десантники, переодетые в советскую форму. На следующий день мы дошли до местечка Смиловичи в 35 километрах от Минска. Население этого местечка, как и большинства других, было в основном еврейским. В Смиловичах я неожиданно встретил свою тетьку с маленьким сыном, она еле плелась на своих больных ногах. В местечке стояла советская военная часть, и было много беженцев. Мы остановились на квартире местного еврейского кузнеца. Это был классический кузнец: могучий, с большой окладистой бородой и жилистыми руками. У него остановились еще несколько семей беженцев. Во время налетов немецких самолетов все мы бежали на его огород и ложились между грядками. 26 июня радио сообщило, что бои идут где-то возле Барановичей — более 200 километров от нас. Но уже минут через десять после этого на улице начали кричать, что какие-то танки стоят по ту сторону реки. Река протекала у самого местечка. Сперва кричали: "Наши! Наши!", но потом заметили, что танки какие-то другие, черного цвета. Все разбежались по домам, а стоявшая в местечке военная часть вмиг куда-то исчезла. Мы забежали в дом, и кузнец велел нам всем лечь на пол. Через несколько минут послышался рокот мотоциклетных моторов и выстрелы, еще минут через пятнадцать — удары прикладами в дверь и гортанные крики: "Ауфмахен!" Кузнец открыл дверь, в квартиру ворвалось несколько солдат и с криками "Раус!" начали всех выгонять во двор, заставляя при этом руки держать на затылке. Во дворе они отобрали мужчин и

стали их уводить. Жены и дети бросились с плачем к своим мужьям и отцам, но немцы их быстро отогнали, работая прикладами винтовок и сапогами. Позже оказалось, что немцы их взяли на разные работы, в том числе для восстановления моста. Мы немного осмелели и стали выходить на улицу. Мальчики со смешанным чувством страха и удивления смотрели на немецкую технику — огромные машины, танки, автоматы. Сами немцы выглядели как на картинке — высокие, здоровые, с засученными рукавами, с открытым воротом. Это были фронтовики, которые не трогали мирного населения, а, заняв населенный пункт, уходили дальше. Потом приходили специальные войска СС, гестапо, которые наводили новый порядок. На центральной площади местечка был райком партии и райисполком. Посреди площади стоял памятник — Ленин с вытянутой рукой. Немцы подкатили маленькую пушку и выстрелили по нему. Все мы разбежались, но вдруг я почувствовал удар по голове. Я обернулся — на земле лежал ленинский палец, а на голове у меня осталась шишка. Это был первый удар, весьма символический. С приходом немцев резко изменилось отношение нееврейского населения к евреям. Неевреев было в местечке немного, но они сразу же преобразились — с их стороны посыпались оскорбления и угрозы. Итти дальше на восток не было возможности, и мы с родственниками отправились назад в уже оккупированный Минск.

Было жаркое сухое лето. Мы взяли с собой чайник воды, отпивали лишь по три глотка — приходилось экономить. Тетушка и ее сынишка с трудом волочили ноги. Шоссе было забито людьми, как и неделю назад — большинство не успело убежать. Люди уже не торопились, ибо шли в неизвестное. Впервые я увидел убитых красноармейцев. Почти со всех были сняты сапоги. Навстречу нам двигался из Минска поток крестьянских телег, нагруженных награбленным имуществом бежавших. Одна еврейская семья опознала свою мебель и пришла в негодование. В ответ мужики набросились на эту семью, избili, а потом еще насмехались: "Вам ведь это уже не понадобится". Наконец, мы добрались до Минска. Город лежал в развалинах. Весь центр был разрушен. Пахло гарью. Стоял смрад от разлагающихся трупов.

Немцы уже были в Минске. Они вошли в него 27 июня, не встретив сопротивления, и захватили огромное количество пленных. Мы пошли на окраину города к другой моей тете, и там я встретил маму и двух сестер. Не найдя меня в лагере, они отправились в Астрашский Городок, где жили какие-то наши дальние родственники. Как и многие, они верили в силу Красной армии, и бежали не от немцев, а от бомбежек: военные сводки сообщали, что бои шли далеко от Минска. Но немцы застали их, и они, как и мы вернулись в Минск. Мой старший брат служил в армии. Во время войны, как потом я узнал, он воевал на Ленинградском фронте. В 1944 г. он пропал без вести. Отец в один из первых дней войны, вернувшись с работы, застал на месте нашего дома лишь пожарище, и кто-то ему сказал, что видел нашу семью на Московском шоссе. Он и пошел туда искать нас. Потом нам рассказали, что он был убит по дороге бандитами.

Мы жили на квартире у одной из тетушек, на тогдашней окраине Минска — Перэспа. Минчане, не собиравшиеся бежать, воспользовались суматохой и натащили с частных квартир и с уцелевших после пожара складов полные дома вещей и продуктов. Недалеко от нас были разграблены склады с мукой, пищевыми концентратами и мылом. Кроме того, на железной дороге стоял состав с цистернами пережатой патоки. Люди с ведрами забирались наверх и черпали оттуда. Я видел, как женщина поскользнулась на разлившейся патоке и упала в люк цистерны. Сначала люди отхлынули и не решались брать патоку оттуда, где лежала утопленница. Но через некоторое время кто-то первый решился зачерпнуть ведро с малясом и люди вновь как мухи облепили сладкую цистерну. Вскоре начались первые облавы и посыпались первые немецкие приказы. Недалеко от летнего лагеря в Дроздах, где застала меня война, немцы создали временный концлагерь для военнопленных и гражданских лиц. Лагерь этот находился в открытом поле под открытым небом. Находились в нем десятки тысяч человек. Вскоре этих людей разбили на три группы — военнопленных, евреев и неевреев. Евреи в этом лагере подвергались страшным издевательствам не только со стороны немцев, но и со стороны местных антисемитов. Их зверски избивали, отби-

рали приносимую из дома еду и убивали просто для удовольствия. Потом неевреев отпустили, большую часть евреев отправили в гетто, а часть в тюрьму. Вышли первые приказы — евреи должны сдать все ценности: золото, серебро, меха. У всех приказов была одна концовка: "За невыполнение приказа — расстрел". Однажды мы пошли на место, где когда-то стоял наш дом, чтобы собрать уцелевшие пожитки — кастрюли, кружки, ложки. Все было в полурасплавленном состоянии, но еще годно. Там я впервые увидел проявление звериной сущности антисемитизма. Несколько подвыпивших немцев решили позабавиться. Они поймали старого еврея, подвели его к телеграфному столбу и заставили лезть вверх. Столб был гладким, скользким, и старик, конечно, не смог влезть. Тогда они вытащили кинжалы из ножен и стали его "подбадривать" снизу. Старик сделал несколько отчаянных рывков вверх, убегая от вонзившихся в него остриев кинжалов, а затем упал окровавленный на мостовую. И все это происходило под ликующий гогот толпы, которая собралась, чтобы посмотреть на это зрелище. Мы вернулись домой подавленные.

Евреям было приказано надеть желтые заплаты диаметром в 10 сантиметров на груди и на спине, и вышел приказ о создании в Минске еврейского гетто. Согласно приказу район гетто примыкал к еврейскому кладбищу. Евреи должны были переселиться в гетто и выходить на работу оттуда организованными колоннами и в сопровождении немцев. Проще было тем, у кого дома сгорели и никакого имущества не было. А те, у кого остались квартиры, вынуждены были их бросить. Часть имущества взяли с собой в гетто, а часть отдали соседям-неевреям на хранение. То же самое сделала моя тетья, у которой мы жили. Большую часть мебели, посуды и других вещей она оставила соседям, которые потом, после войны, когда ее муж вернулся с фронта в Минск, отказывались вернуть вещи под разными предложениями. Советские власти, которым он жаловался, отказались ему помочь. В гетто мы жили — три семьи в двух комнатках. Я спал на стульях, мама и две сестры на одной кровати — валетом. Кормились мы тем, что меняли теткинны вещи на продукты. Это делалось с большим риском для жизни, так как надо было подойти к ограде гетто из

колючей проволоки, быстро сторговаться, а затем менять. Если же полицай видел, то немедленно стрелял и, конечно, в человека, стоящего внутри ограды. Жили мы впроголодь. Я не помню, чтобы в то время хоть раз был сыт.

Моя старшая сестра Тамара была непохожа на еврейку — русая, сероглазая. Работала она вне гетто как русская. Она нам очень помогала — приносила продукты, которые легче было достать и выменять на арийской стороне. Вместе с продуктами она приносила нам нечто еще более важное, что поддерживало нас всех морально — обнадеживающие новости. Она была связана с подпольщиками и приносила советские листовки, спрятанные в картофелине или в каблуке. Листовки передавались из рук в руки по всему гетто. Люди хватались за слухи, придавая им правдоподобный характер, как утопающий хватается за соломинку. Если слухов не было, то их сочиняли.

В городе было огромное количество пленных советских солдат и офицеров. Иногда их водили длиннющей колонной, которая тянулась на многие километры. Шли уставшие, голодные, мучимые жаждой — лето было жаркое и сухое. Однажды, когда им разрешили сделать привал у канавы с зеленой вонючей жижей, она была буквально высушена в миг припавшими к ней людьми. Местное население относилось к ним сочувственно. Бросали им хлеб, картошку. Но немцы тут же стреляли и в бросающего, и в ловящего, и улицы были усеяны трупами. Пристреливали и упавших от изнеможения. Охраняли их не очень строго. По обеим сторонам шли немецкие солдаты, а в конце колонны шел танк, на котором сидел немец-автоматчик. Когда нас вели на расстрел из гетто, конвоиров было значительно больше. В связи с этим мне вспоминаются частые упреки евреям, что вот, мол, евреи шли как телята на убой, а если бы они сразу разбежались, так хотя бы части удалось спастись. В ответ на эти кабинетные рассуждения я всегда приводил пример с военнопленными.

Евреи были разные — с семьями, дети, старики, неорганизованные — просто толпа. И ко всему еще и евреи. Они знали, что если они и убегут из колонны, то им все равно деваться некуда, так как их тут же выдаст кто-нибудь из местного населения. А пленные русские солдаты — это были

молодые мужчины, пусть даже изнеможенные, но не связанные семьями, детьми и стариками. Были среди них и командиры с военным опытом. Если бы они одновременно по команде какого-нибудь решительного командира разбежались, то у них было бы значительно больше шансов спастись. Почти все местное население, независимо от политических настроений, относилось к пленным сочувственно. Город был сожжен, и документов у многих жителей не было. Почти в каждом доме ему дали бы одежду переодеться, накормили бы, он мог бы пойти в деревню, а там уже и до партизан рукой подать. Однако я не помню случая, чтобы пленные, десятки тысяч молодых мужчин, разбежались по своей инициативе. Были случаи побегов, но это были одиночки, или же когда инициатива и помощь исходили извне, от партизан. Евреи такой помощи были лишены.

Несмотря на особо тяжелое положение евреев, я знаю немало случаев, когда какой-нибудь еврей-герой бросался на охрану, и в образовавшейся суматохе люди разбегались. Есть в Минске один известный белорусский писатель. Жена его — еврейка, с которой я был хорошо знаком. Она мне рассказала подобную историю, которая произошла в их местечке. Когда они вернулись из эвакуации в Минск, то поехали на ее родину, и там, в этом местечке, им рассказали, как уничтожилось еврейское население. Когда всех евреев местечка вели на расстрел, то почти у самой ямы одна еврейская девушка бросилась на немца с ножом, свалила его и успела даже дать очередь из его же автомата; немцы от неожиданности растерялись, а евреи, воспользовавшись этим, побежали в сторону леса. Некоторых убили, некоторых поймали и расстреляли, но многим удалось спастись. Аналогичный поступок, я знаю, совершил мужчина в другом местечке. Обо всех этих случаях лишь рассказывали, писать о них не рекомендовалось. Когда писатель хотел написать повесть об этой героине, то ему в Союзе белорусских писателей сказали, что эта тема сейчас не актуальна, а надо писать произведения о восстановлении народного хозяйства в республике. Безусловно, будь она не еврейка, о ней были бы написаны книги, сделаны фильмы, ей были бы поставлены памятники.

Я вовсе не осуждаю советских военнопленных за их

поведение. После постоянного внушения им, что они самые сильные, непобедимые, что никакой враг им не страшен, столь полный разгром советской армии на первых порах войны совершенно подавил их морально.

Акции в Минском гетто

Первая акция в гетто состоялась 7 ноября 1941 года. Проснувшись утром, мы увидели из окна, что часть гетто оцеплена. Однако наша сторона улицы оказалась вне оцепления.

Почти в каждом доме евреи сооружали тайник — "малину": делали подкоп под полом, двойную стену, замаскировывали одну из комнат. У нас на чердаке была сделана двойная стена в одном из его закоулков. Все мы, семьи, живущие в этой квартире, полезли в это убежище, одевшись потеплее, забрав с собой имевшиеся припасы продуктов. На крыше и в стене дощатого чердака были щели, из которых с высоты второго этажа открывалась ужасающая картина. Людей выгоняли из дому в том виде, в каком заставляли; застигнутых в постели выгоняли в белье, в ночных рубашках, босиком. Всех сгоняли в одну колонну. При малейшей заминке сразу же расстреливали на месте, тех, кто не мог идти, тут же приканчивали. Подходили специальные закрытые машины, куда забрасывали детей. Улица была уже усеяна трупами. Раненые кричали и умоляли их прикончить. Стоял душераздирающий крик матерей, у которых вырывали детишек из рук, чтобы бросить их в машины. Некоторые изверги хватили детей за ножки и с размаху размозжили их головки о мостовую или о стену дома. Делали все это немцы совместно с местной полицией и украинскими отрядами. Среди прочих дел не забывали они и о наживе. Они тут же снимали со своих жертв часы, отбирали деньги, кольца и другие ценности. Они снимали часы и кольца и с убитых. Возле тротуара у нашего дома лежала убитая женщина, и один полицай отбежал от идущей колонны, чтобы снять с ее пальца кольцо. Но кольцо никак не снималось, и тогда он выломал палец, оторвал его и снял кольцо с другой стороны. Все это происходило у нас на глазах, и женщины,

сидящие в "малине", не выдерживали, видя этот ужас, и падали в обморок.

К вечеру "работа" была в основном окончена. Но кварталы еще оставались оцепленными, так как продолжали выискивать спрятавшихся и, кроме того, грабили все ценное, что находили. Грабеж этот проходил поэтапно. Вначале грабили немцы и их приближенные из местных полицаев, затем из оставшегося имущества уже рядовые полицаи забирали все, что представляло для них какую-нибудь ценность. Потом оцепление снималось, и туда волной врвалась толпа простонародья, которая набрасывалась на имущество несчастных, как голодные волки на свою жертву. Начиналась чистка всего под корень. Вначале забирали и увозили на повозках, на колясках, а то и просто на плечах вещи и продукты. Затем растаскивалась мебель — и новая, и старая, а после этого выламывали и уносили из дома все, что только можно было выломать и унести — и двери, и окна; а если дом был деревянный, то его просто разбирали по бревнам. В общем после окончательной обработки этого района в кварталах, где еще недавно жили тысячи мирных еврейских семей, оставались лишь одни скелеты домов. Интересно, что местное население узнавало на несколько дней раньше через своих родных и близких полицаев о том, что состоится акция. К ее началу они уже находились во втором эшелоне и кружили как черное воронье, ожидая, когда уже убьют жертву, чтобы наброситься на плоды ее многолетнего труда.

Крестьяне из пригородных деревень дежурили в прилегающих к гетто кварталах и только ждали подходящего момента, чтобы подчистить то, что осталось от немцев и полицаев. Притом, как я уже говорил, в первые дни после акций им не позволяли заходить в эти кварталы. Но у многих страсть к легкой наживе была столь велика, что они, не считаясь ни с запретом, ни с опасностью для жизни, пытались перебежать на запретную сторону и проникнуть в один из домов, а там, набив мешки вещами, вновь перебежали на свою сторону. Но многих из них настигала немецкая пуля, и они оставались лежать посреди улицы, сжимая в предсмертных судорогах награбленное добро. После войны многие дома местного

населения были битком набиты еврейским имуществом.

После акции кварталы гетто, которые подвергались уничтожению, отходили к так называемому арийскому району. Таким путем началось постепенное уничтожение минского гетто. Жертвы уводили и увозили за город в район Тучинки, где заранее были вырыты огромные рвы. Отдельным счастливым, которые притворились убитыми, удалось бежать даже из ямы. Они рассказывали, что евреев приводили к определенному месту недалеко от ям, затем, жестоко избивая нагайками, заставляли раздеваться догола. Вещи тут же бросали в отдельные кучи — обувь в одну, платье в другую, и таким образом сортировали их. Затем евреев группами гнали к краю ямы, и установленные пулеметы начинали работать. После этого убийцы подходили к краю ямы и добывали раненых и тех, кто казался им еще живым. Покрыв эту партию легким слоем земли, они подводили другую группу, и процесс начинался снова — с той же методичностью, немецкой аккуратностью, с тем же хладнокровным садизмом. Когда котлован был наполнен, его засыпали сначала известью, а затем землей. Как я уже говорил, кое-кому из находившихся в верхнем слое котлована — тому, кто упал не задетый пулей или был легко ранен, удавалось спрятаться под трупами, а ночью уползти с этого чудовищного кладбища. Люди, жившие в деревнях неподалеку, потом рассказывали, что первое время после расстрела земля еще дышала — раненые двигались. Местами скопившаяся кровь била из-под земли ключом. Даже неверующие люди в этих деревнях начинали креститься. Всего в Минске убили свыше 130 тысяч евреев. Около 100 тысяч были из Минска, а остальных привезли из Гамбурга, Австрии и Чехословакии. Естественно, что сразу всех уничтожить практически было невозможно, и немцы проводили свои акции по частям. По 10—15 тысяч за один раз.

Кроме того, постоянно проводились облавы, и сотни евреев увозили в неизвестном направлении. Потом оказалось, что их увозили на кладбище, где была вырыта огромная яма, у которой ежедневно расстреливали провинившихся евреев: тех, кто приблизился к ограждению, кто не снял шапку при встрече с немцем, кто шел без желтой

латы на положенном месте. Все это — не считая высокой смертности в гетто от болезней и голода. Часть привезенных из Европы евреев поселяли к нам в гетто, в отведенные им кварталы. Кварталы гетто были отгорожены друг от друга колючей проволокой, и нам было запрещено с ними общаться. Помню, как они колонной плелись с вокзала. Они отличались от местных евреев. У них были европейские манеры. На многих сохранились остатки прежнего лоска — добротная, хотя уже изрядно потрепанная одежда. Кожаные чемоданы, набитые разрешенными килограммами, они волокли по земле, привязав их веревкой или поясом. Их положение было еще хуже нашего, так как они, не зная русского языка и не имея знакомых среди местных жителей, не могли менять свои пожитки на хлеб. Говорили только на немецком, а чешские евреи, естественно, и на чешском языке. Носили они не желтую заплату, как мы, а желтый Маген-Давид. Многих из них прямо на станции погрузили в закрытую машину, предварительно отобрав вещи. Им сказали, что их отвезут на постоянное место жительства, а вещи придут вслед за ними. Их действительно увезли на постоянное место — на место вечного покоя. Их увозили за город, где уже заранее были вырыты ямы, и когда двери фургона раскрывались, оттуда вываливались трупы. Пока машина находилась в пути, выхлопные газы ее рационально использовались для исполнения давно вынесенного приговора. Соседка наша, которая работала на уборке двора в полиции, рассказывала, что всех работающих вдруг погнали вечером в гараж мыть эти машины. В фургоне валялись разбитые очки, клочья волос, вырванные с мясом, сгустки крови и испражнения. В кабине этой машины был глазок в кузов, через который садисты могли наслаждаться предсмертными муками несчастных. Вещи убитых сортировались и отправлялись в Германию, а их остатки разбирали местные полициан.

Не успели мы еще прийти в себя после первой акции, как 20 ноября того же года, через две недели, началась вторая акция. Рано утром мы из окна увидели, что наш квартал оцеплен гестаповцами. Мы решили проводить старшую сестру Тамару на работу и пошли с ней на соседнюю улицу, где она обычно проходила с одной из рабочих колонн на

арийскую сторону. Но тот район тоже был оцеплен гестаповцами. Всех нас стали сгонять в колонну, а место назначения было уже известно по предыдущей акции. Тогда тоже выгоняли всех из домов кто в чем был — в белье, в ночной сорочке, босиком. Это было в конце ноября, земля подмерзла и падал легкий снежок. На сей раз на помощь немцам и местным полицианам прислали специальный карательный отряд литовцев, у которых был уже некоторый опыт по этой части. Люди вели себя по-разному. Некоторые пытались бежать из колонны, но их тут же настигала пуля, некоторые снимали кольца, часы и этим пытались откупиться. Одни молились, другие плакали. Все были в панике. Люди не знали, как лучше поступить, что делать. Почти все были связаны семьями. И даже тут опять-таки прошел слух, что просто переселяют. И когда им это говорили, они верили. Верили, потому что хотели верить. Это была единственная надежда на спасение. Нас повели через оцепленный район по Замковой улице, на которой мы жили. Я шел рядом с младшей сестрой Бетти, рядом с ней шла мама, а справа от меня, с краю колонны, шла Тамара. Тетя с девочкой на руках и со старшей дочкой Таней шла на две шеренги впереди нас. Ее пятилетний сынишка Толик еще вначале потерялся и каким-то образом оказался опять дома. Но потом, при обыске квартир, его откуда-то выволокли и, зверски избивая сапогами и нагайками, допытывались, где находятся его мама и папа, а он-то и сам не знал. И там же его пристрелили, так как сам идти он уже не мог. Об этом мне потом рассказала чудом спасшаяся соседка, которая просидела несколько дней в помойной яме, зарывшись на самое дно. Там были скважины, и она могла видеть все происходящее во дворе. Таким образом она уцелела — уцелела до следующей акции. Когда нас подводили к концу Замковой улицы, Тамара рванулась и исчезла в воротах одного из дворов. Это было сделано молниеносно, и литовец не успел даже выстрелить. Мама крикнула ей вслед: "Тамара, осторожно, тебя могут убить!" В дальнейшем ей удалось пробраться в арийский район, где она встретила своих, подпольщиков, но ее там кто-то выдал, и она оказалась в руках полицаев. Ее посадили в тюрьму, там над ней полициан измывались, пытали, а потом повесили как

партизанку. В тюремном дворе работала еврейская рабочая колонна. Рабочие видели там Тамару, им она передала, что ее кто-то выдал, а от других заключенных они узнали о дальнейшей ее судьбе.

От Замковой нас повели вверх по Обойной. Теперь я оказался с краю шеренги. Я не могу сказать, что о чем-то думал, что-то планировал. Скорее всего, я действовал инстинктивно. Я почему-то старался находиться не рядом с ведущим нас литовцем, а между двумя. И когда идущий сбоку шага на три сзади меня литовец оглянулся назад, я, сам не понимая, что делаю, рванулся во двор через какой-то проломанный забор. Но он заметил и успел выстрелить вслед. Пуля просвистела рядом, но я уже был по ту сторону забора. Так я первый раз бежал от верной смерти — и последний раз видел свою маму. Я пробрался дворами в противоположный конец гетто и там, выбрав удобный момент, проскользнул под колючую проволоку и оказался на арийской стороне. Это уже была окраина города, возле искусственного озера. Сняв желтые латы, я пошел по замерзшему озеру. Но куда идти? В городе у нас были русские знакомые. Но я не знал, как они ко мне отнесутся, а проверять их отношение к евреям на себе я не хотел, так как мог ошибиться лишь один раз. Бродил я так до позднего вечера. Уже стемнело. Я был ужасно голоден и замерз.

Находился я как будто у себя в городе, в городе, в котором я родился и вырос. Сколько времени я провел на этом озере — купался, загорал, играл. Все мне было знакомым и когда-то близким. А сейчас я вдруг почувствовал враждебность во всем. Все преобразилось, сбросив с себя маску. Мне казалось, что даже деревья, скамейки и все вокруг смотрит на меня с ненавистью и тычет пальцем — "жид", "жид".

Деваться было некуда, я пошел назад в гетто. В других кварталах, в которых еще не проводили массовых акций, жили мои тетушки. Я пошел к одной из них, которая жила по улице Опанского. Мужа ее схватили в одной из облав и он бесследно исчез.

Материальное положение в гетто было крайне тяжелым. Люди умирали с голоду. На улицах валялись опухшие от

голода дети. Кто не работал, получал в день комочек сырого хлеба и пол-литра мутной водички с сантиметровым осадком муки, которая называлась затиркой.

Нас водили на рытье канав, уборку улиц и подобные работы. Водили нас работать и на товарную станцию. Там удавалось иногда достать картофельную шелуху, или мороженую картошку, или немного макухи. Это была какая-то поддержка. Водили нас на работу очень далеко — в мороз, в пургу. В гетто свирепствовал террор. Искали подполье. Почти еженощно окружали какой-нибудь подозрительный дом. Жителей увозили в душегубках, а часть убивали на месте. Эти акции всегда сопровождались душераздирающими криками женщин, выстрелами, лаем собак и гортанной бранью гестаповцев. Естественно, что в эти ночи никто уже не спал, и люди прислушивались, не приближается ли душегубка к их дому.

К этому времени, кроме желтых лат, каждый житель гетто обязан был пришить к своей одежде номер дома, в котором он жил. Нумерация в гетто была сплошной, без улиц. Ежедневно на специальных тачках увозили на кладбище умерших от голода и болезней. Люди были в полном отчаянии. Массовый террор, голод, холод, враждебное отношение местного населения их окончательно сломали. И когда однажды прорвавшиеся советские бомбардировщики бомбили город, то люди молились, чтобы бомба упала на них. Люди очерствели, внутренне огрубели, стали ко всему безразличны. Все чувства были притуплены. Смерть воспринималась как обычное явление. Бывали случаи, когда жители какой-нибудь квартиры прятались в малине, и если во время обыска заплачет ребенок, то мать, чтобы спасти себя и всех остальных, собственными руками душила своего ребенка. Животный страх властвовал над всеми человеческими чувствами. Удивительна была способность и любовь немцев к самым изощренным издевательствам. Они иногда брали заложника и заставляли его выдать кого-нибудь из близких. В противном случае грозились на его глазах убить жену, мужа, детей, родителей. Однажды пришли к одному старику и велели ему сказать, где находится его сын, а если не скажет, то тут же на его глазах повесят дочь.

Еврей-полицейские в гетто носили желтые повязки и

следили за порядком. Многие из них были связаны с подпольем и оказывали ему всяческую помощь. Но были и предатели: Розенблат, Эпштейн, Вайнштейн. Они работали на немцев, полагая, что этим спасут свою жизнь. Но они получили лишь некоторую отсрочку.

2 марта 1942 года, когда наша колонна (человек 60) возвращалась с работы в гетто, мы почувствовали какое-то возбуждение в кварталах, прилегающих к нему. Когда мы подходили к Обувной, нашу колонну остановила группа эсэсовцев. Все высокие, стройные, грудь нараспашку, и у всех длинные резиновые нагайки со свинцом на конце. Нас подвели к проволочной ограде гетто, но мы еще находились на арийской стороне. Всех нас поставили на колени в снег. Затем начали вызывать специалистов, которые переходили в указанное место тоже на коленях. Немцы в первую очередь старались уничтожить нетрудоспособную часть населения — детей, стариков, больных. Держали нас так около двух часов. Инстинкт самосохранения лихорадочно заработал во мне: "как спастись?" В гетто, я вижу, совершенно спокойно. Там уже к этому времени окончилась чистка. Я решил прорваться под проволокой в гетто. Несколько раз я подползал вплотную к проволоке, выгребал в снегу под ней воронку, чтобы можно было проскользнуть в нее. Но при третьей попытке один из эсэсовцев заметил и перетянул меня своей нагайкой по голове так, что у меня поплыли круги перед глазами. Я отполз к своей группе и остался лежать на снегу. Уже начало темнеть. Немцы окончили сортировку и, подойдя к нам, дали команду "Ауфштейн!" — "Встать". Я понял, что сейчас последняя надежда, если я сейчас не прорвусь под проволокой в гетто, то шансов на спасение уже не будет. Я весь собрался в комок, и, когда люди начали вставать и строиться в колонну, окруженную с трех сторон немцами (с четвертой стороны была ограда гетто), я рванулся и молниеносно прошмыгнул через вырытую мною воронку. Какой-то полицейский крикнул: "Стой! Назад!" и два раза выстрелил мне вслед. В нескольких метрах от проволоки гетто было здание бывшей школы. Я сразу же забежал за угол и оказался в безопасности. Ни полицейский, ни эсэсовцы не смогли пролезть через эту маленькую воронку.

Я забежал в один из рядом стоящих домов. Там меня какие-то люди затащили в погреб, где прятались несколько семей. Погреб этот был искусно замаскирован. Они мне рассказали о всех ужасах, которые творились в гетто в этот день. Назавтра рано утром я пробрался в дом, в котором я жил. Часть жителей оттуда была увезена, а некоторым удалось спрятаться. В квартире у нас жил рабочий люд — столяры, плотники, каменщики. Они и спроектировали тайник-малину, в котором прятались жильцы нашей квартиры. В одной из комнат стоял большой старомодный буфет. В нижней части его, в среднем шкафчике, поднималась нижняя полка с различным тряпьем, затем поднимались две доски пола, которые были хорошо замаскированы, и люди спускались в маленький погреб. В этом погребе одна из стен отодвигалась, и люди попадали в большой тайник, который был рассчитан на все семьи, населявшие нашу квартиру. Отодвигающаяся стена в погребе, а также зазор между потолком в большом тайнике и полом в квартире были плотно набиты землей, так как при обысках немцы всегда простукивали пол и стены. В тайнике стояла бочка с водой, несколько труб были выведены наружу для вентиляции и замаскированы. Мы работали по ночам. Корзинами и ведрами выносили землю и тут же маскировали ее. В дальнейшем, после моего бегства из гетто, этот тайник еще не раз спасал многих жителей от облав. После полного уничтожения гетто несколько семей остались в подвале ненайденными. Но спустя некоторое время их обнаружили новые жильцы этой квартиры, арийцы, как их называли, и тут же донесли в полицию. Пришли полицейские с немцами и даже не предложили им выйти из тайника, просто бросили туда две гранаты, а потом уже очистили погреб от трупов и всего того, что осталось от них.

Вскоре я стал работать на электростанции, которая находилась в том месте, где я жил до войны. На месте нашего дома были уже огромные горы торфа. На этой станции мы грузили торф, но чаще всего нас, мальчишек, гнали в огромную зольную, откуда мы выгребали золу, а затем грузили на вагонетки и увозили. Получали мы за день черпак супа и... 30 грамм хлеба, я не ошибся, именно 30 грамм. Не тецкую буханку черствого старого хлеба, кото-

рый выпекли еще до войны, разрезали на тонюсенькие просвечивающиеся ломтики.

Электростанция находилась на реке Свислочь. За рекой был парк имени Горького, а за парком шла улица Пулехово. Я вспомнил, что на этой улице жил еще до войны товарищ отца, местный немец по фамилии Никель. Я решил рискнуть и пойти к нему. Я перелез через насыпь у реки; там, сняв пиджак, я спорол с него желтые латы и пополз между кустами к арийскому району. Электростанцию охраняли украинцы. Многие дети, работавшие на электростанции, и дети рабочих часто пробирались на арийскую сторону, чтобы добыть там что-нибудь из продуктов. Многие из них не возвращались, так как были опознаны полицией или местными, которые тут же выдавали их полиции. Часть была поймана украинцами, которые охраняли электростанцию. Они их зверски избивали, а затем отводили в полицию, из которой уже возврата не было. Иногда, когда полиция или кто-нибудь из местных жителей подозревал пойманного мальчишку в том, что он еврей, ему устраивали экзамен. Требовали произнести фразу: "На горе Арарат растет крупный виноград". Если картавости не было, делали другую проверку — предлагали спустить брюки.

Младший сынишка Никеля нашел бумажник, в котором были документы на имя Степанова. Никель дал мне их: "Возьми, может и пригодится". Там были и метрика о рождении, и немецкий паспорт. Но год рождения был 1924, а это было опасно, так как в этом возрасте уже начинают мобилизовывать в различные отряды самообороны. Но из четверки легко сделать девятку, что мы и сделали. Фотография оказалась очень невыразительной и даже чем-то похожей на меня, так что мы решили ее не менять. Потом знакомые лишь говорили, что я плохо получился на фотографии. Эти документы меня не раз выручали. Именно Никелю я обязан этим, а также своим уходом из гетто. Он помог мне сделать первый шаг.

Вскоре я познакомился на работе с женщиной по фамилии Штефан, которая до войны работала "техничкой" в школе: убирала классы и давала звонки. Моя цель была найти какие-нибудь нити, ведущие в лес, найти людей, связанных с партизанами. Дело в том, что к этому времени я

остался совсем один. Родственников и знакомых у меня уже почти не осталось. И люди, которые не знали меня, не могли, естественно, разговаривать со мной о партизанах, о подполье. Я решил уйти куда-нибудь в деревню, а там уже, как я думал, до партизан рукой подать.

В июле 1942 года, когда рабочие колонны ушли на работу, в гетто началась самая продолжительная резня, которая продолжалась четверо суток. Наци решили уничтожить в первую очередь всех неработающих — детей, стариков и инвалидов. На сей раз увозили всех подряд. И работников Еврейского комитета, и с биржи труда, и из самообороны. Немцы и полиция шарили с собаками по всем квартирам, чердакам и подвалам. Все места, которые казались им подозрительными, в которых могли спрятаться люди, они взрывали гранатами. Многих пристреливали на месте. По улицам текли ручьи крови. Даже любимая собака начальника гетто Готтенбаха, острогу зубов которой мне незадолго до этого пришлось испытать, опилась кровью, взбесилась, и он вынужден был ее пристрелить. В больнице всех больных перерезали. Детские дома были все уничтожены. Нашу рабочую колонну с электростанции четыре дня держали в развалинах бывшей гостиницы "Беларусь", днем водили на работу, а на ночь в "гостиницу". Когда через четыре дня нас привели назад в гетто, перед нами предстала жуткая картина. Дома были как бы вывернуты наизнанку. Окна и двери вырваны. Квартирная утварь валялась на улице. Всюду стояли лужи запекшейся крови. Эту картину дополняли жуткие вопли рыдающих матерей, отцов, детей и сестер. Все вдруг сразу осиротели. У каждого погибла если не вся семья, то часть ее. Прежде они торопились с работы домой к женам, детям, родителям, и каждый старался принести в дом что-нибудь, что можно было достать на работе: бидончик супа, немного картофеля, просто кусок доски или полена для растопки печи. Сейчас это уже никому не нужно было. Квартиры были пустые, и из них лишь глядели широко раскрытые глазницы окон, дверей и печей. Гетто сразу опустело, люди сломались, атмосфера стала еще более гнетущей.

Я продолжал приходиться к госпоже Штефан. Каждый уход и возвращение на территорию электростанции были связаны

со смертельной опасностью. Однажды я вернулся на электростанцию, когда колонна уже ушла в гетто. Что делать? Куда деваться? Я снова пошел к ней и рассказал, что опоздал к своей колонне и мне некуда деваться. Жила она в одной большой комнате. К ней часто заходили соседи и всякие люди для продажи и обмена вещей. Она оставила меня у себя ночевать. Поздно вечером неожиданно к ней пришли соседи. Когда они постучались в дверь, она заметалась — куда бы спрятать меня — и втолкнула меня под стол. Стол был большой, круглый, накрытый скатертью, которая свисала до пола. Гости уселись, и начались беседы о том, о сем. Я всячески увертывался от их ног, которые они то и дело протягивали под стол. Затем у меня от неестественного скрюченного положения отекли ноги, мне страшно хотелось их распрямить. Хозяйка и так и эдак пыталась закруглить разговор, но они как назло не понимали намеков. Так я перекачивался, сидя на корточках, с ноги на ногу в течение двух часов, пока они, наконец, не ушли.

В другой раз, когда я уходил от нее, на улице было много русских ребят. Они увидели меня и каким-то особым чутьем почувствовав, что я еврей, начали кричать: "Жид, жид, поиди сюда! Дай золото, а то убьем!" Я пустился бежать в противоположную сторону, преследуемый градом камней, гиканьем и смехом.

Бегство из гетто в деревню

Я стал расспрашивать госпожу Штефан о родственниках ее мужа: где они живут, бывают ли там партизаны. И когда она собралась в деревню навестить свою дочь, я ее прямо спросил, не может ли она меня взять с собой. С ней было идти значительно безопаснее. Она и дорогу знала, и на вид была арийкой, и говорила по-немецки, что очень пригодилось. Она немного подумала, а потом говорит: "Давай-ка пойдём, вид у тебя не типично еврейский, документы у тебя есть" (свой новый документ я ей уже показывал). Мы договорились, что я приду к ней рано утром, и мы вместе пойдём в деревню. Была середина марта 1943 года. Я

поднялся задолго до рассвета. Стоял крепкий утренний морозец. Одевшись в лучшее, что у меня было, я отправился к главному выходу из гетто в надежде, что смогу примкнуть к какой-нибудь колонне, которая выходила на работу пораньше. Но, подойдя к воротам на Республиканской улице, я увидел несколько машин с гестаповцами, которые выгружались и начали оцеплять наш район. Я бросился в противоположную сторону к еврейскому кладбищу, чтобы успеть пробраться через ограду, пока туда еще не дошло оцепление. Я сорвал с себя желтые латы и по привычке сунул их в карман, как будто я еще собирался вернуться обратно. Но тут я осознал, что возврата быть не может. Я внутренне настроил себя, что какие бы опасности ни ожидали меня, в гетто я больше не вернусь. Мне было всего пятнадцать лет, но за два года, проведенные в гетто, я начал по-взрослому осмысливать все происходящее. Гетто было окружено всеобщей враждой и ненавистью. Самой страшной была не ненависть немцев, ибо это было в порядке вещей, а ненависть, как тогда казалось, "своих" — тех, с которыми жили, работали, учились и дружили десятки лет. Атмосфера всеобщей вражды сковывала инициативу, выхолащивала людей духовно и физически. Многие из них, оказавшись они в самых тяжелых условиях, в самых опасных ситуациях, но не лишённые моральной поддержки, не отвергнутые всеми и вся, могли бы проявить чудеса героизма.

Я вытащил латы из кармана и сунул в сугроб. Выбрав удобный момент, я пролез под проволоку, предварительно оттянув до отказа нижний ряд вверх и закрепив его обрывком шнура. Я оглянулся в последний раз на гетто, вернее на то, что еще осталось от гетто, на это старое еврейское кладбище, которое за два года поглотило больше людей, чем за все время своего существования, на эти домишки с наглухо закрытыми ставнями, воротами и дверями, в которых еще теплилась жизнь, но вряд ли надежда. Отсутствие надежды может сломить самых сильных, волевых людей.

Я пришел к госпоже Штефан, и мы отправились в деревню. Мы шли четверо суток. Иногда нас подвозили попутные подводы крестьян, которые ехали с базара. Ночевали мы там, где нас заставала ночь. Когда начинало темнеть,

мы заходили в ближайшую деревню или хутор и просились у крестьян на ночлег. В то время полно было всяких беженцев и просто людей, которые бродили из деревни в деревню в поисках пропитания. По нашей легенде, до войны я учился в школе, в которой моя попутчица работала. Случайно она встретила меня в городе, узнала, что я остался один, все мои родные погибли при бомбежке, и она решила увезти меня в деревню, где легче прожить и пристроить к какому-нибудь богатому крестьянину. Эту версию она повторяла везде, где мы останавливались, и всем, с кем приходилось разговаривать. На четвертые сутки мы подошли, наконец, к деревне, где жили родственники ее мужа. Деревня эта называлась Дравовщина. Она находилась в 20 километрах от еврейского городка Клецк и в 7 километрах от местечка Заостровече. Район этот находился в Западной Белоруссии (название того времени), то есть на территории, которая до 1939 года принадлежала Польше. Деревня была разбита на хутора. Хозяин, двоюродный брат ее мужа Янко Карсюк, был относительно зажиточным крестьянином. У него был большой дом, 8 гектаров земли, две коровы, лошадь, телята, свиньи, овцы. С ним жил его старший сын Иван со своей семьей. Он в детстве повредил себе ногу и стал инвалидом. Ученик еврейского портного из Польши, он слыл лучшим портным в округе. Кроме него, с хозяином жили еще две его дочери — Настасья и Лида. Нас они встретили приветливо. Госпожа Штефан рассказала им обо мне, мобилизовав все свое искусство рассказчицы. Все расчувствовались, а женщины даже прослезились. Они решили оставить меня у себя жить, чтобы я им помогал по хозяйству. У них, как оказалось, всего два месяца тому назад бандиты убили сына, когда он шел в соседнюю деревню через лес. Леса кишели тогда бандитами вперемежку с партизанами и полициями.

Вечером старушка согрела воду в печке. За дорогу, со всеми случайными ночевками, я стал еще более грязным и шпивым. По понятной причине догола раздеться я боялся. Но вода уже была налита в кадушку ("цебар"), у меня не было выбора. Как бы очень стесняясь, я сбросил с себя белье и быстренько прыгнул в воду, где я смог сидеть лишь плотно поджав колени, что меня спасало. Когда раздетый я

уже сидел в кадушке, то увидел изумленные лица всех присутствовавших. Я сразу не понял в чем дело, почему все так пристально смотрят на меня. Не заметили ли они у меня признак, который в то время означал смертный приговор? Но, оказывается, их просто поразила моя худоба. Мои руки у запястья и плечевых костей были одинаковой толщины — буквально кожа да кости. Хозяин подошел ко мне, взял осторожно двумя пальцами мою руку и начал сгибать ее во всех суставах. Потом он мне сказал, что решил, что я болел сухоткой, так как не видел никогда таких тощих. Иван мне сразу сшил белье из крестьянского полотна, старушка расчесала мне волосы густым металлическим гребнем; и я, обновленный и уже немного осмелевший, сел за стол. После почти двухлетнего непрерывного голода я впервые сел за стол, обильно уставленный яствами. С первых же дней меня начали приобщать к работе. Я задавал корм скоту, начал бороновать, а потом и пахать в поле. Эту работу я любил и чувствовал себя хорошо. Через месяца два-три я уже делал основную работу по хозяйству. Кормить скот входило в мои обязанности. Обрабатывали мы поле вместе с хозяином. Молотил цепами рожь, косил траву, очищал хлев, кроме того, ездил в лес по дрова. Летом я в основном пас коров в лесу. Но когда бывала срочная работа, меня на пастбище подменяла дочь хозяина. Эта деревня находилась на одинаковом расстоянии от местечка, в котором был полицейский участок, и от района, куда уже проникали партизаны. В лесах постоянно устраивали засады то полицаи, то партизаны. Кроме того, там бродили всякие вооруженные группы, которые боролись и с партизанами, и с немцами, как, например, польские легионеры. Было много просто вооруженных бандитов, которые только грабили и убивали. Население было запугано и, когда темнело, люди боялись выйти из дому. Я удивлял своих хозяев и односельчан тем, что ничего и никого не боялся. Не боялся не потому, что был такой смельчак, а потому, что после гетто, где на каждом шагу тебя поджидала смерть, где все жили в страхе, здесь для меня был рай. Бывало один уходил с лошадью в лес на всю ночь, чтобы пасти ее и прятать от грабителей. Когда надвигалась какая-нибудь опасность, я садился на лошадь и скакал ночью через лес в соседнюю деревню к родствен-

никам своих хозяев, где было относительно спокойно. Ночевал я до Рождества один на гумне в сене, а утром босиком по снегу возвращался домой.

Относились хозяева ко мне хорошо. Я, со своей стороны, старался вовсю. К хозяйству и ко всему, что было связано с ним, я относился как к своему. Это они видели и ценили. Антисемитизм у них был в основном бытовой. И относились они к евреям, как к чему-то инородному. До войны у них в деревне и в округе жило много евреев — кузнецов, портных и торговцев. Со многими из них они были в хороших отношениях. Но самое большее, на что они могли пойти — это не выдать еврея немцам или даже помочь ему уйти в лес. Прятать его у себя — это уж слишком. Они мне рассказывали, что в начале войны у них пряталась одна еврейка — их старая знакомая. Но через два дня старик препроводил ее в другую деревню, откуда было легче добраться до партизан. Дальнейшая судьба ее была неизвестна. Они полагали, что если бы она добралась до партизан, то иногда бы их навещала. Перед своим отъездом она оставила им почти все свое имущество. С особой ненавистью они относились к советским евреям, которых было немало в 39 году среди "освободителей". Когда с приходом немцев началось уничтожение евреев, одновременно началась охота за их имуществом. После погромов специально ездили в Клецк из деревень, чтобы кое-чем поживиться. После войны я приезжал к Карсюкам и поддерживал с ними дружеские отношения до самого моего отъезда. Когда я им сказал, кто я, они были ошеломлены, но их отношение ко мне не изменилось. Хотя они мне говорили, что если бы тогда они узнали, что я еврей, они все равно оставили бы меня у себя, но думаю, что они постарались бы избавиться от меня, так же, как и от той еврейки, которая жила у них два дня. Семья эта вызывает у меня самые теплые воспоминания и дружеские чувства. Уже после войны Иван как-то сказал мне, задумавшись: "Когда в 39 году пришли Советы, то они говорили, вот, мол, из-за панов вы и жили так плохо. Пришли немцы и говорили, что, мол, из-за жидов вы жили так плохо, ну а теперь вот нет ни жидов, ни панов, а жить еще хуже".

Встреча с партизанами

Хотя в деревне было относительно неплохо, но, разумеется, целью моей оставалось узнать, где находятся партизаны, и как добраться до них. Для этого я и ушел из гетто. У меня еще тогда было о партизанах самое розовое представление, хотя часто, когда у односельчан заходил о них разговор, я слышал их реплики. Партизаны, мол, тоже жидов не любят. Приводили примеры. Но мне тогда казалось, что это просто какое-то недоразумение.

Через две деревни от нас находилась деревня под названием Чаша, там жила одна из дочерей хозяина. Деревня эта находилась недалеко от партизанского района, и туда часто проникали партизаны. Я искал всякого предлога, чтобы меня туда отправили на некоторое время: отвезти что-нибудь, помочь дочери по хозяйству. Но первое знакомство с партизанами у меня произошло в лесу. В один из дней ранней осени я пас коров недалеко от нашей деревни. Я сидел на обочине дороги, проходящей через гущу леса и плел ковш для картошки. И вдруг, о Боже, вижу — партизаны. По дороге передо мной идет колонна настоящих партизан. Впереди на лошади в желтой кожанке, в портупее, с красной ленточкой на папаче, ну прямо как на картинке едет командир, а за ним длинная вереница партизан, одетых и вооруженных по-разному. Винтовки они носили стволом к земле. Чувства мои трудно описать. Я бросил коров и со слезами радости бросился к ним. Но командир, увидев меня, сказал что-то рядом идущему, очевидно адъютанту, и тот, схватив меня за руку, отвел в колонну. Меня окружили, и со всех сторон посыпались вопросы — кто я и откуда. Я говорю открыто, ведь здесь уже бояться некого: "Я еврей из Минска. Мои родители погибли в гетто, я все время стремился к вам, к партизанам. Наконец-то моя мечта сбылась". Но тут я увидел у многих окруживших меня иронические улыбки на лицах, смешок, а затем посыпались реплики, такие с нарочитым еврейским акцентом, нараспев: "А сто ты зде-е-есть бу-у-у-дешь делать в пагтизанах? Стгелять? Но ведь у нас нет кгивого гузья!"

А другой спрашивает: "А кто были твои мама и папа? Навегно в магазине тогова-а-али?" И дальше: "А тебя

случайно немцы не заслали к нам шпионить? Лучше скажи сразу, а то мы тебе еще одно обрезание сделаем!" и тому подобное. И все это сопровождалось всеобщим гоготом. Я был в каком-то шоке. Я не верил своим ушам. Я подумал, что попал к переодетым полицаям. Мне рассказывали, что иногда полиция переодевалась партизанами, чтобы спровоцировать и выявить всех, кто им симпатизирует, а потом с ними расправиться. Так мы прошли несколько километров. Я еще пытался просить отвести меня к командиру и оставить у них. Просился пойти с ними на самое опасное задание, но кроме насмешек и издевок в ответ я ничего не услышал. Затем командир опять позвал своего адъютанта и сказал ему что-то. Он отвел меня в сторону от колонны и приказал: "Ложись лицом к земле!" Я лег. Затем он говорит: "Считай до ста, если поднимешь голову, то сразу получишь пулю в затылок". Я начал считать и слышал удаляющиеся шаги. Когда шаги затихли, я поднялся. Партизанской колонны уже и след простыл. Я мог в то время ожидать чего угодно, но такая встреча с красными партизанами меня совершенно ошарашила. Делать было нечего, я пошел собирать своих коров, которые разбрелись по лесу. Но все-таки я еще не терял надежды, что встречу настоящих партизан, которые возьмут меня к себе. Позже мне удавалось бывать под различными предложениями в деревне Чаша, но и там меня партизаны допрашивали и настаивали на том, что меня заслали немцы. Разумеется, если бы они сами в это верили, то расправа была бы короткой. Они просто издевались надо мной. Через некоторое время один из партизан, по моему, замаскированный еврей, наедине сказал мне, чтобы я лучше поскорее убирался из этого района, так как все равно рано или поздно кто-нибудь из особо рьяных антисемитов расправится со мной. Мне пришлось вернуться опять в Дрбовщину.

Если бы я тогда не был столь наивен и скрыл свое происхождение, то меня взяли бы в партизаны, и отношение ко мне было бы совершенно иным. В дальнейшем, уже после войны, при встрече со многими партизанами-евреями я узнавал новые факты о том, как сильно процветал антисемитизм в партизанских отрядах.

При всем терроре, царившем на оккупированных немца-

ми территориях, положение евреев в гетто не идет ни в какое сравнение с положением неевреев. Последние могли свободно передвигаться по всей территории, ездить в деревню и в другие города. Материальное положение их было несравненно лучше. И, главное, они не были окружены глухой стеной ненависти. В конце концов, их не убивали только потому, что они русские, украинцы, белорусы. В партизаны их брали даже, если они прежде служили в немецкой полиции. Все это им тогда прощалось. Евреи же находились в атмосфере дикой вражды и животной ненависти не только со стороны немцев, но и со стороны своих вчерашних соседей, бывших сотрудников и друзей. И это было самое ужасное. Когда нас из гетто вели на работу через арийский район, то почти всегда идущие по тротуару так называемые арийцы нам вслед кричали: "А, жили 20 лет на нашей шее, пили нашу кровь? Теперь расплачивайтесь!" Или же, когда, бывало, еврей-интеллигенты рыли каналы, убирали улицы, то постоянно слышались насмешки, издевки над их неуклюжестью: "А, отсидели свои толстые зады в магазинах, привыкли, чтобы русский Иван работал на вас! А сейчас поработайте и вы! Кончилось ваше время!" и тому подобное.

Я видел ликующую толпу, когда евреев вели на расстрел. Я видел, как бывшие ученики, а нынешние полиция вытаскивали из колонны своих учителей-евреев и сводили счета с ними за прошлые двойки. Помню, когда мы возвращались с работы в гетто, одна пожилая женщина, детский врач, узнала в толпе, стоявшей на тротуаре, своего бывшего пациента, которому она в свое время спасла жизнь, а потом лечила в течение всего его детства. Теперь же этот спасенный ребенок был в обличии полицая. Но она все-таки бросилась к нему в надежде, что у него осталось чувство благодарности и он сможет ей помочь. Благодарность его выразилась в том, что он швырнул ее на землю и стал топтать ногами, сопровождая это отборной антисемитской бранью. Затем он плюнул на лежащую на земле женщину. Мы же ее опять втащили в колонну и уже принесли на руках в гетто.

Если бы местное население было просто пассивно, то добрая половина евреев могла бы спастись. Ибо без активной помощи местных жителей немцы бы никогда не смогли

уничтожить такое огромное количество людей. Помогали немцам не только полиция и местная охрана или же другие организованные вооруженные отряды, старавшиеся перешеголять немцев в зверствах, но и основная масса населения: и простые крестьяне, и рабочие, и интеллигенция. Это было еще в 1941 году. Я вышел на верхнюю часть улицы, которая спускалась горой, и передо мной открылась картина. Мне виден был весь район, как со стороны гетто, так и арийская часть. Внизу улицу пересекала проволочная ограда гетто. У ограды немцы совместно с полицией проводили очередную облаву на евреев. Они окружили несколько домов и выгоняли оттуда всех жильцов, а затем загоняли их в тут же стоящие машины. Во время этой облавы нескольким еврейским мальчишкам удалось пролезть под проволоку на арийскую сторону, а там во дворах они попрятались в различных дворовых строениях — в уборных, мусорных ящиках, сарайчиках. И тогда все мы, стоявшие наверху и видевшую эту картину, были потрясены, как в этих дворах женщины и их дети выволакивали еврейских детей из их убежищ, ловили их, если они пытались удрать и тут же отдавали в руки немцам или полициам. И это был не единичный случай. Такое отношение населения к евреям было типично, лишь проявлялось оно по-разному.

Сейчас некоторые историки и писатели, иногда как будто ничего не присочиняя, искажают происходившее на территориях, оккупированных немцами. Они берут разные факты, положительные и отрицательные, и попросту количественно смещают их. Были, мол, отдельные отщепенцы, предатели, которые выдавали евреев, а в массе своей местное население всячески помогало евреям, даже рискуя своей жизнью. Это ложь. Отдельные случаи оказания помощи евреям они преподносят как типичное явление. А массовая ненависть к евреям, активная и пассивная помощь большинства местного населения немцам в уничтожении евреев выдается за отдельные случаи. Да, были случаи, когда русские, белорусы, украинцы, литовцы, поляки действительно спасали евреев, скрывая их. Но, к сожалению, это были лишь отдельные случаи, так же как и случаи, когда сами немцы спасали евреев. Например, один немец увез из минского гетто целую машину евреев в лес и сам ушел вместе с ними в партизаны.

Но это были лишь редчайшие исключения, а исключения, как известно, лишь подтверждают правило.

Уйти еврею в партизаны было не так-то просто. Нужно было выбраться из гетто, пройти город, итти по селам, по лесам, где не только рыскали немцы и полиция, но и каждый встречный мог тебя выдать полиции. Не говоря о том, что трудно было достать документы, многих евреев выдавал их семитский профиль и еврейский акцент. Я, будучи мальчишкой, не был похож на еврея. Еврейского акцента у меня не было, так как я всегда разговаривал по-русски и учился в русской школе. И, когда я шел по городу вне гетто, предварительно сняв желтые латы, я не боялся встретиться с немецкими полициами или с гестаповцами. Но видя русских полицаяв и других подозрительных местных типов, я всегда забегал в развалины домов, благо весь центр Минска был разрушен, или в подворотни. Русские мальчишки каким-то особым чутьем определяли, что я еврей, и сразу же начинали кричать: "Пан, пан, вон жид пошел, жид!" и гнались за мной с криками: "Держи жида!" Для них такая охота была развлечением.

Из такого враждебного окружения еврею было трудно пробраться к партизанам. Но самое ужасное начиналось, как это ни парадоксально, когда некоторые из них все-таки встречались с партизанами. Прежде всего, среди партизан усиленно распространялись слухи, что евреи кончают у немцев школы шпионажа и их направляют в партизаны для того, чтобы шпионить, а также отравлять колодцы и кухни. Об этом я много раз слышал даже после войны от русских партизан, которые с пеной у рта доказывали, что это действительно правда. Кроме того, у многих приходивших к партизанам евреев они требовали золото, считая, что у евреев золото — это нечто само собой разумеющееся. Или же давали еврею заведомо невыполнимое боевое задание с условием, что, только выполнив его, он докажет, что он не немецкий шпион. Например, давали пистолет, чтобы убить начальника полиции, или давали взрывчатку, чтобы взорвать мост, находящийся под усиленной охраной, — выполнить подобное задание могла лишь специальная группа подготовленных людей. А эти евреи безо всякой военной подготовки, а некоторые из них не умели даже пользоваться оружием,

шли на явную гибель, так как иного выхода у них не было. Известно много случаев, когда евреи уже начали создавать свои отряды, собирали оружие, но при первой же встрече с партизанскими отрядами их окружали, обезоруживали и под предлогом, что они засланы немцами как шпионы, расстреливали.

Несмотря на все мне еще тогда казалось, что антисемитизм партизан является чем-то случайным, нетипичным, а вот, когда придут наши, то тогда уже будет совершенно иначе.

Освобождение от немцев

Однажды поздно вечером хозяин вызвал меня во двор и предложил приложить ухо к земле. Я лег на землю и услышал далекий гул канонады. "Ты чуешь, Толя, это колхоз идет", — сказал мне хозяин. Разумеется, радости моей не было предела. Я считал уже себя спасенным. В связи с приближением Советов у моего хозяина и у большинства крестьян были смешанные чувства. С одной стороны, они не любили немцев как инородцев, хотели, чтобы поскорее окончилась война, так как у некоторых из них были сыновья и в советской армии, и в немецкой армии. У некоторых из них сыновей и дочерей увезли в Германию на работу. Кроме того, они мечтали, чтобы скорее окончилась эта партизанщина, так как больше всех страдали от нее они. У них забирали коров, свиней, лошадей и другое имущество. С другой стороны, советский режим у них ассоциировался с колхозом, что также означало лишение их почти всего недвижимого имущества, а для них их земля, пастбища, скот были главным в жизни. Дня через два с крыши дома я уже видел движущиеся колонны советских войск, окутанные клубами пыли. Все крестьяне, захватив необходимые вещи и скот, спрятались в лесу. Боев, кроме воздушных, в нашем районе не было. Немцы ушли бесшумно, а советские войска продвигались быстро. Вскоре они заполнили всю нашу деревню. Мне казалось, что я родился заново. От радости я порвал свои русские документы на имя Степанова. "Ведь теперь они уже мне не нужны, не от кого

скрывать, что я еврей", — думал я. Я объявил хозяину, что уезжаю в Минск искать родных. И действительно, одна из моих тетушек — сестра матери — успела эвакуироваться. Меня проводили тепло. Сшили новый самотканый костюм, дали торбу с хлебом и салом, и хозяин отвез меня на телеге к шоссе. Всего я в деревне прожил год и три месяца.

В Минске никого из родственников у меня не осталось. Я решил пойти в армию. Я пришел в областной военкомат. Выглядел я совсем мальчишкой — худой, в крестьянской одежде, босиком. Это было лето 1944 года. Советские войска продвигались победоносным маршем на Запад. В тот год призывали молодежь 1926 года рождения. Один из работников военкомата меня спросил: "Что пришел, чего хочешь", я сказал, что хочу в армию. "Какого года рождения?" Я ответил — 1928. Тогда он сказал мне: "Ну, тебе еще рановато в армию. Пойди к мамке своей, поешь блинов, подкормись, а потом возьмем". Помню, мне стало страшно обидно. Комок подкатил к горлу, и я заплакал. Я уже не помнил того времени, когда плакал. Это было впервые за всю войну, как-то прорвало меня, и я не смог ему объяснить, что мне некуда и не к кому идти откармливаться. Я ушел. По дороге я увидел объявление о приеме в ремесленное училище, которое обеспечивало питанием и общежитием. Это было единственное место, куда я мог пойти, так как это мне давало хоть какой-то прожиточный минимум. Ученики были разные — и из города, и из деревни, но у большинства из них были родственники, и каждое воскресенье они уезжали домой и привозили мешки с хлебом, салом и другими продуктами. Питание в столовой училища поддерживало силы, хотя мы и не наедались. Практические занятия проводились на танкоремонтном заводе им. Ворошилова. Туда прямо с фронта привозили подбитые танки и самоходные орудия. Мы, мальчишки, часто лазили в танки — внутри были следы запекшейся крови. В танках я добывал радиодетали, которые приносил своему приятелю радиолюбителю; он из них собирал приемники. В то время иметь радиоприемник запрещалось. И тогда я впервые услышал голос свободного радио.

ПЕРВЫЙ СРОК

Два года свободы

В ремесленном училище была атмосфера довольно откровенного антисемитизма, проявляемого как учениками, так и учителями. Учителя, в основном с "Медалью партизана", позволяли себе особенно много. (В противоположность им те, кто жил и работал на оккупированной территории и боялся, что его обвинят в сотрудничестве с немцами, сдерживали себя и даже иногда прикидывались друзьями евреев). Я открыто высказывал учителям и ученикам свое возмущение этими проявлениями. Но и тогда я еще наивно полагал, что все это лишь влияние войны и немецкой пропаганды. Мне часто приходилось вступать в драку с антисемитами. Как и в довоенный период, желание быть сильным и здоровым толкнуло меня пойти тренироваться в спортивную секцию бокса. Мне тогда уже было ясно, что антисемиты понимают лишь язык силы, язык кулака. Я учился в ремесленном училище, занимался спортом и одновременно пошел учиться в вечернюю школу, чтобы получить аттестат зрелости. По окончании ремесленного училища меня определили в группу, которую собирались послать в город Ростов в специальный техникум, который относился к тому же министерству трудовых резервов. Но очередная стычка с антисемитом изменила всю мою дальнейшую судьбу. Один из учеников, сын подпольщика, после очередного антисемитского выпада был мною жестоко избит. Меня отвели к заместителю директора училища, тоже бывшему партизану, который тряс перед моим носом огромным кулаком и рычал: "У — у морда" — с трудом удерживаясь от слова "жидовская". Под конец он заявил: "Пойдешь работать, пойдешь на свой хлеб. Вы только и стремитесь учиться, чтобы потом стать начальниками и командовать людьми". И меня исключили из списка кандидатов, в котором я, кстати, был единственным евреем. Меня отправили работать на тот завод, где мы проходили практику. Через некоторое время меня вызвал замдиректора завода по политчасти и предупредил, что если я буду заниматься и в дальнейшем националистической пропагандой, то это для меня плохо кончится.

Моя так называемая националистическая пропаганда тогда выражалась лишь в моих отповедях антисемитам. Никаких познаний в еврействе у меня совершенно не было. Особо злобствовал и постоянно провоцировал меня комсорг цеха. Я старался сдерживаться, но время от времени меня прорывало.

В это время меня от секции бокса направили на Всесоюзный парад физкультурников. Парады проводились с большой помпезностью, на них всегда присутствовал Сталин и все правительство. Парады являлись классическим примером советской показухи. На них отпускались колоссальные средства, содержались десятки тысяч спортсменов. На Красной площади или на стадионе Динамо в Москве расстилался огромный ковер для спортивных выступлений. Генеральные репетиции проводились ночью на Красной площади. В Кремле всю ночь горел свет, и мы всматривались в окна, стараясь увидеть человека с усами. В выступлениях принимали участие лучшие гимнасты страны. Для них было заказано дорогостоящее спортивное оборудование. Но перед выступлением кому-то показалось, что Сталину будет утомительно долго стоять, тогда решили программу сократить. И дорогостоящее оборудование превратилось в железный лом, а многомесячная подготовка гимнастов, которых откармливали американской тушенкой и шоколадом, пошла насмарку. Все это происходило в послевоенные годы, когда страна лежала в развалинах, не было жилья, а продукты выдавались по карточкам.

Перед отъездом я пошел к директору завода просить разрешение поехать на парад физкультурников, а после парада поступить учиться. Он меня приветливо принял, дал разрешение и пожелал успеха в выступлениях и учебе. И я уехал в специальный лагерь, где проводилась подготовка к параду. Там я познакомился со студентами Института физкультуры, и они уговорили меня поступить в их институт. После парада я сдал вступительные экзамены и был принят в институт. Я тогда, разумеется, не знал, что это был лишь хороший предлог для руководства завода избавиться от меня. Да еще каким путем! В то время, когда директор завода благословлял меня на успехи, начальник отдела кадров оформлял на меня дело в суд за уход с военного

производства. Я тогда даже не знал, что еще действовал закон военного времени об уходе с военного производства от 12 декабря 1941 г., по которому давали от 5 до 8 лет. И не знал, конечно, ничего о порядке оформления ухода с завода, полагая, что если директор завода дал мне разрешение, то все формальности выполнит отдел кадров. Он это и сделал.

Арест

14 ноября 1946 года во время лекции по анатомии в аудиторию вошла секретарь деканата и вызвала меня к декану. Я вышел, оставив свой портфель и шапку, полагая, что сейчас вернусь. В аудитории сидели все в пальто, так как помещение в то время не отапливалось. Лекции конспектировали в перчатках. Когда я вошел в деканат, меня встретили двое мужчин, одетых в гражданское, и сказали, что мне необходимо пройти с ними в милицию, чтобы выяснить вопрос о моей прописке. Я, понятно, что-то заподозрил в таком необычном приглашении, но еще не предполагал, чем это может кончиться. Выходя из помещения, один из них демонстративно вытащил револьвер из кобуры под пальто и переложил его в карман, чтобы я видел, что он вооружен, и не пытался бежать. В милиции меня заперли в камеру с какими-то уголовниками, но я не успел с ними познакомиться, как меня вызвали, посадили в специальную машину и отвезли в прокуратуру. Прокурор района, фамилию которого я уже не помню, обрушился на меня с грубейшей бранью, насыщенной антисемитскими выпадами. Мол, воевать вы не хотите, работать не хотите, а живете лишь паразитами на теле русского народа, и тому подобное. Там же следователь снял с меня допрос, который длился всего полчаса. Я ему объяснил все как было, что меня отпустил директор завода, что я хотел учиться и т. д. Он как будто записал все, как я ему говорил. Весь протокол занял полторы страницы, но расписаться он мне велел в конце листа, оставив чистой полстраницы. Тогда я еще не знал, что это один из многочисленных способов состряпать дело. В дальнейшем на суде я узнал, что он написал на оставшемся

чистом месте, что я националистически настроен и враждебно отношусь к советскому строю. Из прокуратуры меня отвели в городскую тюрьму. Все это было сделано за полдня. Это было в 1946 году. Тогда Россия кишела уголовными преступниками, процветало воровство, грабеж, бандитизм, и тюрьмы были битком набиты уголовниками. Кроме того, в первые послевоенные годы производились массовые аресты всех, кто в той или иной форме сотрудничал с немецкими оккупантами. Ловили полицаев, власовцев, бургомистров, старост и прочих. Естественно, прокуратура и суд были завалены делами. И все они оформлялись скоростными методами, без попытки вникнуть в суть дела. Первые шесть дней, то есть до суда, я находился в подвале тюрьмы в карантинной камере. Камера эта была метров 15. На полу, плотно прижавшись друг к другу, лежали люди разного возраста, разных сословий, разных национальностей. Попадали сюда как за действительные, так и за мнимые преступления. Было ужасно холодно и сыро. Пол был цементный. Кормили какой-то баландой из капустных очистков, иногда попадались отдельные картофелины, совершенно неочищенные и полугнилые. Поглощение этой баланды сопровождалось громким скрипом зубов, так как в ней было полно песка от немытой картошки. Но голод заставлял не замечать этих мелочей.

20 ноября меня вызвали из камеры и в сопровождении двух охранников повели в суд, который находился в двух кварталах от тюрьмы. Судил меня военный трибунал, так как завод был военный, и судили по указу военного времени, хотя после окончания войны прошло уже полтора года. В трибунале было полно арестантов. Во всех комнатах и коридорах стояли действительные и мнимые преступники под усиленной охраной, а на улице и во дворе толпились их родственники, пытаясь передать им что-нибудь. Трибунал работал, как конвейер. Это была чудовищная фабрика производства дешевой рабочей силы для концлагерей, которыми была усеяна вся Советская Россия. За пайку хлеба и черпак баланды строили города, валили лес, добывали уголь, рыли каналы. Судила "тройка", ни прокурора, ни адвоката не было. Когда подошла моя очередь,

меня втолкнули в маленькую комнатку. В ней за столом сидел офицер, по обе стороны от него два солдата — заседатели. Скамьей подсудимых для меня служил стоящий на полу низкий нескороаемый шкаф. Быстро выяснили анкетные данные для заполнения протокола, и офицер начал допрашивать, как и почему я ушел с завода. Я ему повторил то, что говорил следователю — что меня отпустил директор завода, что я хотел учиться и что никакого преступления не совершал и не понимаю, почему меня держат и судят вместе с убийцами, фашистами и предателями. Он тогда мне ответил, что еврейские националисты и немецкие фашисты — это то же самое и что суд разберется. После окончания допроса вся тройка вместе с секретарем ушла на совещание. Оно продолжалось не более 20 минут. За мной еще была огромная очередь и с более серьезными делами. Читая описательную часть приговора, председатель суда сказал, что я, будучи националистически настроен и имея нездоровый взгляд на советский строй, разлагающе влиял на окружающую молодежь, а потом сознательно дезертировал с военного производства, и что суд определяет мне меру наказания в соответствии с указом военного времени от 12 декабря 1941 года. В дальнейшем к моей радости последовало "но" — но учитывая, что он остался круглой сиротой, что все его родные погибли от рук немецких оккупантов, сам он был узником минского гетто, учитывая, что он, уйдя с завода, не пошел воровать и спекулировать, а пошел учиться, что, хотя и судят меня по указу военного времени, но война уже победоносно окончена... После этого "но" я уже настроился на то, что суд ограничится внушением или же даст мне срок условно, и меня отпустят домой.

Судья продолжал. Учитывая все эти обстоятельства, суд считает возможным ограничиться минимальным сроком наказания и приговаривает меня к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовых лагерях. Услышав это "смягченное" решение суда, я так и остался стоять как вкопанный. Но охранники быстро привели меня в чувство и вывели в коридор, а оттуда обратно в тюрьму. По дороге они смеялись и успокаивали меня, что это ведь детский срок: пройдет зима — лето, зима — лето, и я буду дома. Понятно, что после массовых

приговоров по 25 лет каторжных работ это казалось им детским сроком. Но те хоть знали, за что сидят. "Мы хоть крови жидовской попили, поехали по всей Европе, наслаждались женщинами и лучшими винами, а вы-то за что сидите?" — говорили они, обращаясь к той части заключенных, которые и сами не знали, за что сидят, которые сидели по состряпанным делам или же по ложным доносам. Из суда меня завели в камеру осужденных. Хотя я уже отсидел шесть дней в камере подследственных и немного представлял себе, что такое тюрьма, но то, что я увидел, ужаснуло меня. В относительно небольшой камере было около 100 человек. Вокруг стен были сплошные нары, но мест хватало лишь для половины, остальные же лежали на полу и под нарами. Все проходы были заняты лежащими вплоть до самой парашки. Хотя оконные рамы были сняты, стояла вонь и духота. Стоял пар, как в бане. Лица у всех были пепельного цвета. Я примостился где-то в уголке на полу, сыром и ужасно грязном. Я начал присматриваться, прислушиваться, изучать обстановку.

Большинство заключенных сидели за растраты или уход с работы, было много солдат, которым за возвращение из увольнительной с опозданием давали статью "дезертирство". Наиболее колоритными в камере были уголовники-рецидивисты. Их было всего человек пять-шесть, но они держали в своих руках всю камеру. Когда кто-нибудь получал передачу, то по существующему в камере закону он обязан был вначале отнести ее этим уголовникам, которые занимали самые комфортабельные, если можно применить это понятие к камере, углы и отбирали себе лучшие продукты, а оставшуюся часть отдавали заключенному. После этого никто уже не имел права посягать на остатки его передачи. Все заключенные свыклись с этим положением и уплачивали долг натурой беспрекословно. Если же кто-нибудь пытался утаить что-либо из передачи, прежде чем отнести ее уголовникам, его избивали самым жестоким образом досками, вырванными из нар, и сапогами. Это делалось на виду у всех и, естественно, такая экзекуция отбивала охоту даже помышлять о неподчинении. У этих уголовников были свои законы, по которым они жили сами, и навязывали, где только могли, другим. Они говорили:

“Тюрьма наш дом родной, а вас она 20 лет ждала, и вы обязаны подчиняться существующим законам, если хотите жить”. Позже, в других местах, в пересылках, например, где заключенные не получали передач и посылок, уголовники в качестве налога взимали довески. Каждое утро в камеру приносили пайки хлеба; сырой и тяжелый, как кирпич, хлеб взвешивался в хлеборезке, и все довески хлеба прикалывались к основному куску деревянной палочкой. Так вот эти-то довески надо было отдавать уголовникам, а так как в камере было по меньшей мере сто человек, то у них каждое утро собиралась гора хлеба, и они, конечно, не голодали. Кроме того, они могли еще подкармливать своих “шестерок”. “Шестерками” называли заключенных, морально совершенно опустившихся, которые обслуживали этих уголовников: подносили им пищу, стирали для них, выполняли все их требования и прихоти. За это они получали обеды с “барского” стола. Весь день уголовники играли в карты, которые сами искусно делали, пели тюремные песни — у некоторых из них были прекрасные голоса — или кто-нибудь из них рассказывал “рôман” — были среди них и великолепные рассказчики. Все они были хорошо одеты, так как все, что было приличного из одежды у заключенных, переходило к ним.

Ежедневно нас водили на прогулку по полчаса. Во дворе тюрьмы были маленькие дворики-камеры. По углам этих колодцев на вышках стояли охранники, наблюдая, чтобы заключенные из разных камер не переговаривались между собой и ничего не бросали. Полчаса мы кружили по этим дворикам, после чего нас возвращали обратно в закрытые камеры тюрьмы. Кормили нас той же баландой из гнилой капусты и неочищенного картофеля.

В Минске у меня была тетя, которая во время войны спаслась, успев эвакуироваться в Узбекистан. Узнав, что я сижу в тюрьме, она время от времени приносила мне скромные передачи: хлеб, отварную фасоль, одну—две луковицы и немного сахара. Когда я впервые получил от нее записку о том, что она принесла мне передачу, я решил сломать существующий порядок и не относить ее “хозяевам” камеры. Возле меня лежал бывший майор милиции, еврей, который получил 3 года за потерю оружия. Он

прекрасно знал все тюремные законы и мир преступников. Уголовники, конечно, не знали, кем он был в прошлом — бывшим работникам милиции и суда в тюрьмах житья не было. Я поделился с ним своим планом, и он меня поддержал. В свою очередь он начал подготавливать солдат для совместных действий. Происходящее в камере наглядно показало разницу между небольшой организованной группой людей и массой людей разрозненных. В камере было очень много здоровых молодых людей, солдат и офицеров, но их ничего не связывало между собой, каждый думал лишь о себе и не хотел рисковать из-за кого-то. Только поэтому небольшая кучка уголовников могла терроризировать людей, которых было раз в двадцать больше их. Солдаты, хотя им и не приносили передач, тоже много терпели от уголовников — за малейшую “провинность” их жестоко избивали. И это несмотря на то, что в эти первые послевоенные годы к солдатам все относились с уважением. Но у уголовников был совершенно иной мир, иная мораль, иные законы.

И вот, когда впервые меня подозвали через кормушку для получения передачи, все обратили на это внимание, так как до этого я передач не получал. Получив передачу, я демонстративно направился в свой угол. У всех от удивления раскрылись рты. Некоторые были поражены моей “наглостью”, а некоторые моим “невежеством”. Отдельные доброжелатели начали мне подсказывать: “Отнеси вора сначала, ты что, порядка не знаешь? Хочешь, чтобы тебя калеккой сделали?” Уголовники подняли головы от карт, стараясь понять, что происходит. Один из них, который все видел, медленно поднялся и начал отрывать доску от нар, при этом рыча: “Ты что, фрайер, жить надоело? Сейчас ты получишь воровскую передачу, от которой тебе и жить не захочется!” Все это сдабривалось цветистой бранью, художественно довольно сложной. Но тут на нары вскочил майор и закричал: “Солдаты, за это ли вы воевали, чтоб сейчас над вами издевалась эта свора!” Это был сигнал к началу. И все, с кем мы договорились, а их было человек 15, схватили доски от нар, сапоги, крышку от параша и начали с таким остервенением колотить уголовников, что те в одно мгновение оказались избитыми, изувеченными и уползли в

дальние углы под нары. Но их оттуда выволакивали и продолжали избивать. Когда они уже были совершенно повержены, включились и другие — стали топтать их ногами.

Больше всего я питал ненависть к одному поляку, который отсидел срок за бандитизм, а сейчас сидел за попытку перейти польскую границу. Ко всему он был ярым антисемитом и отличался цинизмом и жестокостью. Все, что накопилось во мне, весь гнев и ненависть я обрушил на его большую круглую голову, а когда он уже лежал, то кто-то еще ударил его доской по голове. Он и остался так лежать недвижимым. В это время за дверью послышался шум, прибежало тюремное начальство и начали растаскивать кого куда. Уголовников перевели в карцеры и больницы, и наша камера ожила. Начальство знало о существующем камерном бандитизме, но смотрело на это сквозь пальцы. Однако после происшедшего оно вынуждено было принять некоторые меры, а наша жизнь повисла на волоске. У уголовников была великолепно налажена связь друг с другом, где бы они ни находились. Конечно, были переданы наши фамилии и другие данные — за нами началась охота. Уголовникам убить человека ничего не стоило, делали они это очень спокойно и профессионально. У всех у них было по многу статей и за воровство, и за бандитизм, и за убийство, так что они ничего не теряли. Срок у них был максимальный, им лишь добавляли еще одну статью, срок которой поглощался предыдущими статьями. Это парадоксально, но советская власть вдруг проявила удивительную гуманность и отменила смертную казнь именно в первые послевоенные годы, когда в стране свирепствовали разбой и бандитизм, когда ловили массами полицаев, гестаповцев, на счету у которых были сотни тысяч убитых людей. Всем им выносили смертный приговор, и тут же добавлялось, что на основании вышедшего указа смертная казнь заменяется двадцатью пятью годами заключения в лагерях строгого режима. Одна из причин этого "гуманизма" заключалась в том, что страна остро нуждалась в дешевой рабочей силе для работы в самых тяжелых условиях, а добровольцев было очень мало.

Вскоре нас вызвали на очередной этап. В этот этап из участников расправы попали я и несколько солдат. Нас

вывели в специальное помещение, и там передали конвою. По инструкции конвой должен был произвести тщательный шмон. Нас раздевали догола, всю одежду тщательно осматривали, прощупывали все швы и уголки. Если что-то казалось им подозрительным, они отрывали подошву от ботинок, каблуки, распарывали зимние шапки. Задавался один и тот же вопрос: "Колющих и режущих инструментов нет?" Затем переходили к осмотру посиневших от холода заключенных, которые стояли голые на цементном полу, ожидая, пока осмотрят их вещи. Заглядывали во все места, куда можно было спрятать деньги или гвоздь. Тщательно осматривали полость рта, заставляли становиться спиной и наклоняться до предела вперед — вдруг и там что-нибудь спрятано. Надо было поднимать стопы ног — может быть, к ним что-нибудь приклеено. После всех этих унижительных процедур нам разрешали одеваться, а затем загоняли в другое помещение. Чтобы кто-нибудь не вздумал поехать на этап вместо другого, конвоир называл только фамилию, а заключенному надо было назвать все остальное — имя, отчество, год и место рождения, статью, срок. Такой порядок существует и в тюрьмах, и в лагерях. Когда окончился отбор, нас построили по пятеркам и еще раз пересчитали. После этого началась погрузка в "черные вороны". Машина внутри была разбита на маленькие боксы, куда рослому мужчине с трудом удавалось втиснуться, и сидел он там, сложившись так, что колени почти упирались в подбородок. Летом, в жару, некоторые не выдерживали такой пытки и теряли сознание. Но была зима, ехать было недалеко, и все благополучно прибыли на станцию, где было отведено специальное место для заключенных.

Нас загнали в "стольпинские" вагоны. В каждое 4-х местное купе — по 15—18 человек, так что спать можно было лишь сидя. В купе было маленькое, зарешеченное окошечко с матовым стеклом, через которое проникал свет, но увидеть ничего нельзя было. Отодвигающаяся решетка служила дверью. По коридору прохаживались часовые. Самое мучительное в стольпинских вагонах было то, что нас водили на оправку только два раза в сутки — утром и вечером. И было редким исключением, когда удавалось уговорить охрану разрешить дополнительное пользование туалетом. Как пра-

вило, заключенный, который страдал желудком, мог корчиться от боли, умолять и плакать, но часовой невозмутимо на это твердил: "Не положено". И все. (Издевались над нами и заставляли мучиться жаждой.) Почти всегда на этих этапах сухой паек состоял из хлеба и ржавой селедки. После того, как поешь этой пересоленной селедки, наступала мучительная жажда, а в воде-то ограничивали, давали по баночке. И часовой так же, как и при просьбах в туалет, на мольбы заключенных дать еще водички отвечал: "Не положено". Не помню уже, сколько мы тогда ехали. Поезда в послевоенное время шли очень медленно. Останавливались на всех полустанках. Кроме того, дороги были занесены снегом, а работающие там женщины не успевали очищать путь. Наконец-то мы прибыли на станцию Орша. Было известно, что в Орше находится большая пересылка.

Пересылка — это место, где собирали заключенных из всех ближайших тюрем, и туда приезжал покупатель рабсилы из какого-нибудь концлагеря и формировал этап. Этапы эти были огромные, формировали целый состав и уже не из столыпинских вагонов, а из пульмановских. В пульмановских вагонах были свои преимущества и свои недостатки. Легче было потому, что там прямо в центре вагона было сделано отверстие, которое называлось "туалетом", и заключенные не зависели от доброй воли часового. Но хуже было потому, что люди замерзали — ехали зимой, в Сибирь, и единственная железная печурка не помогала. Стоишь, бывало, около нее, спереди жарись, а сзади замерзаешь.

Оршанская пересылка состояла из множества одинаковых корпусов, которые битком были набиты заключенными. Как всегда, мы прежде всего прошли через шмон, потом нас повели в баню. Все наши вещи были сданы в прожарку, в которой убивалось все живое, находящееся в одежде и белье. Затем нас пропустили через строй парикмахеров: один из них стриг волосы на голове, другой брил бороду, третий брил лобок. Бритвы были тупые, приходилось сжимать зубы от боли. Все это происходило в холодной раздевалке, очереди были огромные, и когда подходила очередь, то заключенные были уже синими от холода. Всем давали по маленькому кубику мыла. Мытье также происходило скоростным методом. Едва только успе-

ешь намылиться, как присутствующий здесь же надзиратель уже подгонял, приговаривая: "Быстрее, быстрее, давайте кончайте, там еще много таких ждут. До утра не успеем всех пропустить. Нечего нежиться, это вам не дома". После бани нас развели по камерам. Камеры, как и вся пересылка, были огромные. В той, в которой я находился первое время, было более трехсот человек. Никаких нар вообще не было, так как это считалось местом временного пребывания, хотя люди там жили помногу месяцев. Весь день приходилось стоять или сидеть на корточках. Ночью ложились по команде: "По рядам и валетом!" Наши ноги лежали на животе друг у друга, головы на плече друг у друга. Примерно через каждый час следовала команда, по которой все поворачивались набок, потом на другой бок — так проходила ночь. В основном контингент заключенных состоял из бывших полицейских, гестаповцев и власовцев. Большинство из них получили по 25 лет каторжных работ. Второе место занимали уголовники. Матерые рецидивисты, потерявшие всякий человеческий облик, хозяйничали по всей пересылке. Их перебрасывали из камеры в камеру за добычей, а потом они собирались вместе и пировали. В одной из камер кто-то из них наткнулся на одного солдата — участника их разгрома в Минской тюрьме. Солдат был зверски избит, и только вошедшие в камеру надзиратели спасли его от смерти. После этого начальник режима, для которого частые внутритюремные убийства были не очень приятны, поместил всех нас — участников расправы с бандитами — в маленькую каморку.

Нас было пять человек, каморка была размером три на два метра. Все лежали на полу. В углу стояла параша. Кормили нас три раза в день. Завтрак — пайка хлеба на весь день и кипяток, обед — черпак баланды, на ужин тоже черпак баланды. Так как наша каморка находилась где-то в углу одного из дальних корпусов, а пищу начинали разносить с разных концов пересылки — завтрак с нашей стороны, а обед — с другой — то выходило так, что мы получали завтрак часов в пять утра, обед часов в одиннадцать вечера, а ужин доходил до нас где-то в два ночи. Заключенные, работающие по разносу пищи, не могли справиться со своевременной ее доставкой многим тысячам арестованных.

Пока ее доносили до "едока", она совсем остывала. Разумеется, мы были постоянно голодны, никто из нас никаких передач и посылок не получал. Весь день лежали на своих подстилках и лишь поочередно один из нас мог прохаживаться по каморке, делая по три шага в каждую сторону. За три месяца пребывания в этой каморке нас ни разу не выводили на прогулку. Наше маленькое окошечко выходило в коридор. Внутри круглые сутки коптила коптилка, иначе надзирателю не было бы видно через глазок, чем мы занимаемся. Так что все мы были совершенно лишены свежего воздуха и света. Когда к концу третьего месяца нас впервые вывели в баню через двор, то все мы закричали от сильной рези в глазах. Пришлось с закрытыми глазами вернуться в помещение и постепенно привыкать к свету. Это было зимой, и белый снег еще более усиливал яркость. За три месяца такого режима мы были совершенно истощены, озлоблены, друг другу надоели. Темы для разговоров были исчерпаны. Все уже знали в подробностях биографию друг друга. Голодные и злые, мы постоянно грызлись друг с другом, а мне, как еврею, приходилось еще отражать и антисемитские выпады. Почти всегда это кончалось дракой, а потом, обессиленные, мы опять ложились вместе на пол. Вскоре нас повели на осмотр к врачу. Это делалось перед этапом для комплектования рабочих бригад.

Тюремные врачи считали истощенным заключенного тогда, когда у него уже отчетливо торчали кости и на ягодицах. Я, слава Богу, подходил уже под эту категорию, и меня перед этапом отправили на неделю в "слабиловку", — камеру для истощенных. В этой камере заключенным давали "усиленный" паек, что выражалось в дополнительных 100 граммах хлеба, вечером давали ложку каши, да еще 15 граммов сахара — одну спичечную коробочку на двоих. Откормиться я еще не успел, мясо еще неросло, а меня уже вызвали на этап. Этап готовился большой, несколько тысяч человек. Опять обычные процедуры — обыск, проверка — и нас небольшими партиями отправили на товарную станцию, где уже ждал состав из пультманов. Вагон был битком набит заключенными, и каждый старался захватить место получше, т. е. поближе к железной печурке. Я разместился где-то на полу посередине вагона. И ночью поезд

отправился, увозя многотысячную дешевую рабочую силу на одну из строек сталинских пятилеток. Назавтра утром с грохотом растворили двери, и нам принесли хлеб и кипяток. В обед принесли ржаную затирку, и мы заметили, что она была горькой на вкус и пахла смолой. Оказывается, в баланду при варке клали хвойные иглы, чтобы мы получали витамин С — профилактика от цинги. Рабочая сила должна быть здоровой.

Ехали мы недели две. Время было послевоенное. Поезда шли нерегулярно. Сутками мы простаивали на полустанках, и нам казалось, что мы едем целую вечность. Жизнь в вагоне была однообразной. Днем всегда царил полумрак. Ежедневно те же проверки-переключки. Ежедневно прошупывали и простукивали вагон (не пытались ли мы его сломать). Ежедневно та же пища, те же голоса. Нарушали однообразие только стычки между заключенными.

На Яе

Однажды, после того, как мы простояли более суток на одном месте, двери вагона неожиданно раскрылись, и нас начали выгружать на каком-то полустанке. Была ранняя весна. Кругом стояла непроходимая грязь, и лишь в отдельных местах были остатки почерневшего снега. Охрана была усиленная и, как всегда, с большим количеством немецких овчарок. На какой-то площади, окруженной войсками МВД, мы начали снова проходить всю приемопередаточную процедуру. Хотя разного рода служащих была уйма, все это заняло много часов, и мы стояли голодные, замерзшие, ожидая своей очереди. Когда уже начали спускаться сумерки, нас, наконец, повезли на специально оборудованных грузовых машинах к лагерю. По дороге мы узнали, что находимся где-то в Сибири. В лагере вся процедура по нашему приему тянулась до утра. Опять обыск, но еще более тщательный, баня, бритье, прожарка — и всюду длиннющие очереди. Лишь к утру мы получили пайку хлеба да еще черпак баланды. Лагерь наш, как оказалось, находился в Кемеровской области в 400-х км

восточнее Новосибирска, на станции Яя. Рядом протекала река Яя. Это место входило в район Кузбасса. Заключенные лагеря в основном работали на лесосплаве. Лес шел на оборудование угольных шахт. Это был один из старейших лагерей Советского Союза. Там сидели еще родственники Зиновьева и Каменева и других вождей русской революции, которых в свое время убрал Сталин. К тому времени, то есть, к 1947 году, они уже отсидели по 12–15 лет, хотя получили по суду 10 лет. В свое время предельный срок заключения по советскому законодательству был 10 лет. Но у всех у них на личном деле было написано СОЭ (социально-опасный элемент), а это значило, что выпускать их нельзя. И после отсиженных 10 лет их вызывали и предлагали расписаться в документе, в котором объявлялось, что их заключение продлевается еще на три года; после трех лет они опять расписывались на несколько лет, и так далее. Так продолжалось до 1956 года, когда оставшихся в живых освободили при массовом освобождении политзаключенных Хрущевым. Теперь это были пожилые больные люди. Но они как-то прижились, приспособились и чувствовали себя, в отличие от нас, как дома. Работали они в основном в обслуге — в столовой, прачечной, парикмахерской и детских яслях.

В зоне было 30 тысяч человек: были и утонченные интеллигенты старой школы, и безграмотные мужики, были и политические заключенные, и отпетые уголовники, ярые коммунисты и столь же ярые фашисты. Кроме того, тогда в зоне мужчины и женщины еще были вместе, только в разных бараках. Естественно, у всей лагерной верхушки заключенных — нарядчиков, комендантов барачков и других "придурков" — были наложницы, которых они покупали за пайку хлеба. Уголовники открыто приводили к себе на нарты девиц, и комендант барака боялся им что-нибудь сказать, а лагерное начальство смотрело на это снисходительно. В результате пришлось создать в лагере детские ясли. Вскоре нас разбили на рабочие бригады и разместили по баракам. Я попал в бригаду, работающую на лесосплаве. Работа наша заключалась в том, чтобы тяжелыми железными крюками вытаскивать из Яи бревна, сортировать их по диаметру и штабелевать. Работа была невероятно тяжелая, нормы большие, а питание мизерное. Работали по 12 часов в сутки.

Вдобавок бригада наша работала в ночную смену — с часу ночи почти до часу дня. Очень часто к концу рабочего дня подгоняли порожний железнодорожный состав и нам говорили: "До тех пор пока не нагрузите этот состав, в зону не пойдете". И к концу рабочего дня, когда все уже были измотаны 12-часовым изнурительным трудом, приходилось нагружать огромные бревна на эти платформы. Часто люди, совершенно обессиленные, не выдерживали неимоверного напряжения и падали, и тогда баланы с грохотом скатывались на них, оставляя позади убитых и изувеченных. В зону я шел, едва волоча ноги, и уже не хотелось ни есть, ни пить, а лишь добраться до нар и свалиться. По окончании работы нас строили по пятеркам, несколько раз пересчитывали, а затем следовало: "Руки за спину! Шаг вправо, шаг влево, прыжок вверх считается побегом! Стреляю без предупреждения!" — "Следуйте!". И мы, окруженные конвоем с собаками, медленно плелись обратно в зону.

Права конвоя были неограничены. Они издевались над заключенными так, как им только хотелось. Если кто-нибудь им не нравился, с ним расправлялись очень просто. Велели ему взять лежащий в нескольких метрах от него предмет — доску, палку или что-нибудь другое, — а затем стреляли в затылок. После этого вызывали офицера, измеряли расстояние, на которое он отошел от колонны, и писали акт о том, что заключенный был убит при попытке к бегству. Такие случаи были нередки. А если, бывало, заключенный, зная уже, чем это пахнет, отказывался выходить из строя, то находили другие способы избавиться от него. Один из них — покупали за пачку чая кого-нибудь из уголовников, у которого срок был предельным, так что терять ему было нечего, и он убирал кого надо. Или "случайно" падало на человека бревно, или он "нечаянно" падал под поезд, или же его попросту убивали и топили в уборной. В лагере царил полный произвол, действия администрации и конвоя не контролировались; никто не мог, да и некуда было жаловаться, так как жалобы проходили через руки той же администрации. Кроме того, уголовники при прямом попуществе начальства властвовали в зоне. Все посылки проходили через их руки. Поэтому заключенному доставалась ничтожная доля. Спали в бараках на двухэтажных

нарах, ни постельного белья, ни матрацев, разумеется, не было, и каждый стелил на ночь то, что у него было — пальто, фуфайку или бушлат. Спали всегда в одежде: во-первых, было очень холодно — барак огромный, а топили плохо, а во-вторых, если кто-нибудь и снимал с себя часть одежды, то утром ему уже нечего было надеть. Вещи воровали, а потом продавали. Часто случалось, что со спящего снимали обувь или другие вещи, а он после долгого изнурительного труда так крепко спал, что ничего не чувствовал. Каждое утро после подъема из разных концов барака раздавались вопли — с кого-то сняли сапоги, из-под кого-то вытащили пальто. Ночью по команде "подъем", все должны были мгновенно вскочить. И худо было тому, кто замешкается или просто не услышит команду. Его хватали за ноги и сбрасывали с нар. Занимались этим коменданты барачных, а это были отпетые негодяи, которые рьяно старались выполнить свои обязанности с той же жестокостью, с какой они привыкли выполнять эту работу в немецких концлагерях. Но вскоре у всех выработался соответствующий рефлекс. По команде коменданта "подъем" все, полусонные, вскакивали, как марионетки. Выходили на построение, получали на завтрак черпак баланды, которую залпом выпивали, и только где-то на полпути к месту работы окончательно просыпались.

Этот режим, голод, издевательства, неизменно тяжелый труд убивали во многих заключенных все человеческое. Некоторые превращались в полуживотных. Никаких моральных норм для них уже не существовало. Девизом их было — выжить любой ценой. И для этого они шли на самые низкие, самые подлые дела. На разных людей лагерная жизнь влияла по-разному. Одних больше всего убивала жестокость лагерной администрации, другие не выдерживали тяжелого труда, третьи не могли перенести голод. Особенно мне запомнились голодные заключенные в карантинном бараке, куда нас поместили по прибытии в лагерь. Люди только и говорили о еде. Каждый вспоминал вслух, что он когда-то ел, что он больше всего любил, как надо готовить то или иное блюдо. Обсуждали это, жадно смакуя и с мельчайшими подробностями. Пайку хлеба, которую мы получали по уграм, каждый поглощал так, как ему казалось

сытнее. Самые нетерпеливые съедали ее сразу, другие распределяли по кусочкам на весь день, некоторые растирали в миске с водой и делали тюрю — им казалось, что таким образом они больше наполняют желудок, и это сытнее. Когда в этом бараке кто-нибудь умирал, труп старались сразу не отдавать, его скрывали и при перекличке кто-нибудь из рядом лежащих откликнулся за него. Таким образом удавалось получить лишнюю пайку. Держали его до тех пор, пока он не начинал разлагаться, и лишь распространявшийся трупный запах вынуждал отдавать его в морг.

Ежедневно в лагере умирали десятки заключенных. Происходил "естественный" отбор: более слабые и больные не выдерживали голода, холода и тяжелого труда. Более сильные и выносливые еще как-то держались. Каждый день через вахту вывозили подводы с трупами. Их складывали на телеги как дрова, но так как охранники боялись, что вместе с трупами может лечь и живой и таким образом совершить побег, они устраивали особую проверку. Охранник пересчитывал трупы на подводе, ударяя изо всей силы большим молотком каждого мертвеца по голове. Если бы там и лег живой, то такая проверка гарантировала, что вывезут лишь его труп. Проверяли трупы и по-другому: один надрезал пятку кинжалом — живой не мог бы не дернуть ногой; другой просто втыкал штык в каждый труп. Надзиратели делали это, даже если за ними наблюдали заключенные, а может быть и специально, чтобы видели, что и таким путем нет никаких шансов сбежать. Были попытки бежать, хотя и очень редко. Шансы на успех были равны нулю, но толкало отчаяние. Кроме того, что охрана была усиленная, вся область была разбита на квадраты и контролировалась не только охраной, но и местным населением. По тревоге местные крестьяне выходили на заранее отведенные для них участки и прочесывали их. За поимку или оказание помощи при поимке беглеца каждый житель получал вознаграждение — пуд муки или что-нибудь еще. Стоимость беглеца зависела от места, времени и ценности самого заключенного. Однажды несколько заключенных, заранее договорившись, решили совершить побег с места работы. Это были опытные люди, в прошлом военные. Побег этот готовился долго. Все было рассчитано. Им удалось соорудить маскировочные плоты и

под ними вместе со сплавляемым лесом уплыть вниз по течению Яи. Но не прошло и часа, как побег обнаружили. Была объявлена тревога. Вся охрана и местное население были подняты на ноги, и начались поиски и ловля беглецов. К вечеру охрана привезла на подводе груды изуродованных трупов и сбросила их у вахты так, чтобы возвращавшиеся с работы заключенные могли их видеть: вот, мол, что ждет каждого из вас, кто посмеет последовать их примеру. Позже привели тех беглецов, кто чудом остался в живых. Им на шею повесили огромные камни. Они были так избиты, что друзья и знакомые не могли их узнать. После этого побега контроль и террор еще больше усилились. Но весь этот режим и террор со стороны администрации и охраны не очень касался уголовников. Они не работали, так как по их закону воры не должны работать. Они получали чай и даже водку с воли, грабили остальных заключенных. И все это — при молчаливом одобрении начальства. Только однажды они что-то не поладили между собой, и тогда были вызваны войска охраны, которые окружили барак с засевшими уголовниками. Но войти внутрь охране так и не удалось, так как двери были забаррикадированы, а если кто-нибудь пытался заглянуть через окно в барак, то его тут же обливали содержимым парашаи, из которой они черпали миской. Так продолжалось несколько часов, пока не подкатили к окнам пожарную машину и не начали из брандспойтов сильными струями загонять осажденных в угол. После этого холодного душа их покорили и увели в карцер, а из барака вынесли уйму холодного оружия — ножи, кинжалы, топоры и тому подобные предметы. Но недели через две они почти все вернулись на свои места и снова зажили по-старому.

Я все время старался не попадаться на глаза уголовникам, так как знал, что фамилия моя им известна, и убирать меня им ничего не стоит, никто не помешает. Но одного из солдат, который принимал участие в их избивании еще в Минске, они опознали. Их приговор был короток — убирать. Обычно в таких случаях они поручали совершить убийство одному из своих, у которого есть какие-то грешки перед уголовниками. А если такого не было, то они играли в карты, и проигравший должен был убить. На этот раз они

играли, поставив на кон голову солдата. Исполнить приговор выпало на долю одного рецидивиста, у которого срок был 25 лет. За ним числилось уже несколько убийств, в том числе и лагерных. Солдат жил в другом бараке, но его заманили к ним в барак играть в карты. Они сидели на полу недалеко от моего изголовья и мирно играли в карты. Было это после ужина, и почти все лежали на нарах, отдыхали. Вдруг в дверях появился этот рецидивист-убийца, быстро подошел к солдату сзади, выхватил из-под полы бушлата топор (обычно он ходил одетый весьма франтовато, но сейчас, готовясь к карцеру, надел бушлат) и коротким ударом рассек ему голову пополам. Солдат рефлекторно вскочил на ноги, но тут же упал замертво. Это было сделано настолько быстро и умело, что никто не успел сообразить, что произошло. Впрочем, если бы кто-нибудь и догадался о намерении убийцы, то тоже не подал бы виду, боясь, что и его постигнет та же судьба. В таких условиях чувство самосохранения особенно обострено. После того, как это "мокрое дело", выражаясь лагерным языком, было сделано, убийца сам пошел на вахту, сдал топор и заявил: "Идите уберите труп". Труп убрали, убийцу изолировали, но через некоторое время после суда он снова вернулся в зону с еще одной статьей за убийство, но почти с прежним сроком, так как времени после предыдущего суда прошло немного. Подобные убийства совершались очень часто: убивали за слово, убивали за пайку хлеба, за пару сапог, за женщин. Бывало, если кому-нибудь из уголовников нужно было перебраться в следственную тюрьму по своим делам, он выбирал первую попавшуюся жертву, убивал ее, а потом его направляли на следствие в нужное ему место. А куда направляют, ему было уже известно заранее.

Это было в 1947 году: Война уже окончилась. Страна лежала в развалинах. Царил голод и разруха. Лагеря были битком набиты заключенными. Их уже некуда было помещать, а прибывали все новые и новые поезда. И в это время власти решили разгрузить лагерь. Для заключенных с небольшим сроком и не очень страшной статьей установили бесконвойный режим. Такие жили в особых бараках и на работу шли без конвоя. Это значительно облегчало их положение. Они чувствовали себя относительно свободнее и, кроме того, могли добыть себе что-нибудь сверх пайки.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СВОБОДА

Неожиданное освобождение

Жалоб я, кроме кассационной, ни разу не писал, ждал все, когда отменят указ военного времени. О том, что его должны отменить, ходили упорные слухи. Но прошло уже два года после войны, указ не отменяли, и я продолжал сидеть. В Минске у меня была двоюродная сестра — очень энергичная женщина с хорошо подвешенным языком. Еще до войны она училась в одном классе с дочерью маршала Конева. Они были очень дружны. И вот она решила добиться моего освобождения. Она поехала в Москву, взяв в институте, где я учился, мою характеристику, оказавшуюся весьма положительной. Взяла всякие справки, в том числе о том, что у меня все родные погибли в гетто. И через дочь Конева, которая, в свою очередь, действовала через полковника, адъютанта Конева, добилась приема у председателя Военной Коллегии Верховного Суда СССР генерал-полковника Ульриха. После того, как она изложила суть моего дела, рассказала об обстановке, в которой было совершено мое "преступление", показала ему все справки, характеристики и даже фотографии, он тут же дал указание пересмотреть дело. Сам пересмотр длился менее недели, но решение дошло до меня лишь через два месяца. Вначале его почему-то послали в Минск, затем в Оршанскую пересылку, а потом уже в лагерь, где я находился. Когда меня через коменданта барака вызвали в управление лагеря, я не подозревал, для чего меня вызывают, во всяком случае, ничего хорошего я не ожидал. И когда мне объявили, что мое дело пересмотрено, и мой срок заменен на один год условно, то я не поверил своим ушам. Но потом, прочитав несколько раз решение Военной Коллегии Верховного Суда СССР, я убедился, что это действительно так — я свободен. Не помня себя от радости, я помчался в барак за вещами, состоявшими из рюкзака, телогрейки и полотенца. В этот же день мне выдали справку об освобождении, деньги на проезд и сухой паек на дорогу — буханку сырого хлеба, которая весила более трех килограммов, и две ржавые селедки. Так как

этого пайка явно не хватало на семь суток, то я решил ехать, как в ту пору многие ехали, на подножках, переходных площадках и крышах вагонов, а на сэкономленные деньги покупать еду.

Поезда в то время шли так медленно, что дорога от Кемерово до Минска длилась не менее семи суток. До Кемерово я добрался относительно благополучно. Я забрался на переходную площадку между вагонами и там, стоя вместе со всякими ворами, спекулянтами и просто бродягами, добрался до нужной мне станции. В Кемерове мне не удалось втиснуться на переходную площадку, и я добирался до Новосибирска на подножках вагонов, соскакивая на каждом полустанке, прежде чем меня прогонит проводник. Поезда ползли медленно, с долгими остановками. Приходилось пересаживаться с поезда на поезд. Милиция на каждом шагу меня задерживала и проверяла документы. И тогда моя всесильная справка об освобождении объясняла все. Меня отпускали и прощали то, что еду без билета. Бандиты, грабители чувствовали себя в поездах, вернее на поездах, как дома. Они всех обыскивали, и если находили что-то подходящее, то это немедленно переходило к ним в руки. Никто не пытался сопротивляться, так как расправа следовала тотчас же. Особенно они свирепствовали во время движения поезда и ночью. Дело в том, что проводники ночью запирали все двери, боясь, что грабители проникнут в вагон и начнут хозяйничать и там. Люди оказывались в безвыходном положении. В вагоны их не пускали, как бы они ни колотили в дверь и ни умоляли проводника, а бежать им некуда было. Каждую ночь в разных концах поезда раздавались крики о помощи и слезные мольбы. Помню, где-то между Новосибирском и Свердловском, когда мы ехали на крыше вагона, вдруг появилось несколько грабителей, которые бегали по крышам вагонов, перепрыгивая на ходу с одного вагона на другой. Они начали раздевать и разувать всех, на ком было что-нибудь стоящее. Но одна девушка заупрямилась и ни за что не захотела снимать сапоги. Расправа последовала тут же. Ее швырнули с крыши мчащегося поезда. Раздался душераздирающий крик, и темная уральская ночь поглотила жертву. После этого остальные безропотно отдавали все. Мне было

легче, так как у меня брать было нечего. Часто были случаи, когда люди падали по неосторожности — или когда перепрыгивали с вагона на вагон, или же когда вставали во весь рост и не замечали проводов поперек железной дороги, и их скашивало моментально.

В Свердловске я зашел на вокзал и, в ожидании отправления очередного поезда, сел в сторонке на ступеньках лестницы, крепко обняв свой рюкзак с хлебом и селедкой, и уснул. За этих несколько дней я ни разу не сомкнул глаз, но так же быстро как и уснул, я проснулся и обнаружил, что рюкзака у меня уже нет. Я забегал, начал искать, но все это, разумеется, было бесполезно. И тогда я пожалел, что сэкономил хлеб вместо того, чтобы есть досыта. У меня еще остались деньги, выданные на билет, которые были запрятаны поглубже. Все эти дни я ни разу не умывался и от копоти и грязи был настолько черен, что все прохожие шарахались от меня в сторону. Вид мой, по-видимому, настолько не внушал доверия, что женщины на базаре, куда я забегал купить что-нибудь поесть, прятали от меня все, что лежало на прилавке. Особенно страшный вид был у нас после того, когда мы проезжали туннель в Уральских горах. Проезд через самый длинный туннель едва не кончился трагично. Я лежал на крыше вагона, обняв одну из вентиляционных труб и раскинув ноги для устойчивости. Поезд вошел в туннель, и весь туннель наполнился паровозным дымом. Дышать стало нечем. Когда я делал даже неглубокий вдох, копать и дым наполняли легкие, и я начинал дико кашлять. Тогда я старался вообще не дышать. Пришлось напрячь всю волю, чтобы дождаться того момента, когда поезд выскочит из туннеля. Все лежащие на крыше, вернее, оставшиеся лежать, так как некоторых мы не досчитались, были черны, как трубочисты. Рот, нос и уши были набиты сажей. На очередной станции нас увидел какой-то высокий начальник железнодорожной милиции и приказал проверить нас. Его приказ был тут же выполнен. Отряд милиции начал всех сгонять с вагонов. Моя справка опять выручила — меня отпустили. Все это время мне почти не пришлось спать, и только изредка, ожидая очередного поезда или же примостившись на переходной площадке, мне удавалось немного подремать. Усталость и

бессонница давали себя знать. На седьмые сутки я вскочил на скорый поезд Омск—Свердловск и примостился на узкой ступеньке вагона, держась за ручку обеими руками. Поезд мчался по ложине, по обеим сторонам которой стоял дремучий лес. Была ночь, и под мерный стук колес я уснул. Проснулся я в тот момент, когда уже летел со ступенек под откос. Я ударился головой о шпалу и потерял сознание. Сколько времени я лежал — не знаю, но проснулся от начавшегося дождя. Я вскарабкался наверх, на железнодорожную насыпь. Абсолютная тишина и кромешная тьма. Счастье, что я был в ушанке, которая немного смягчила удар. Куда идти? Немного подумав, я поплелся по шпалам. Шел я долго, не помню, сколько. Но наконец, увидел вдалеке огонек и пошел на него. Это оказалась будка стрелочника. Я ему рассказал, откуда я, и все, что произошло. Оказалось, что я пошел в сторону, противоположную движению поезда. По его совету я прошел еще несколько километров до ближайшего полустанка. Там я взобрался на какую-то платформу с кирпичами, и под утро поезд двинулся по направлению к Свердловску.

Чем ближе мы были к Москве, тем труднее становилась посадка на поезд. Милиции на станции было все больше, и контроль усиливался, но все-таки мне удалось добраться до Москвы. Я прибыл на Казанский вокзал, а мне нужен был Белорусский. Это было в воскресенье вечером. В метро было полно народу, ехавшего с гуляний, концертов и вечеров. Стоял теплый вечер, и все были одеты в светлые выходные платья. Мне, черному от сажи и грязи, пришлось осторожно пробираться сквозь эту нарядную публику, чтобы случайно кого-нибудь не задеть. Люди, в свою очередь, шарахались от меня, как от чумного, и благодаря общим стараниям я благополучно переправился на Белорусский вокзал. Но на Белорусском вокзале с посадкой оказалось значительно сложнее. Милиция и близко не подпускала меня к поезду. Вдоль всего состава стояла цепь милиционеров. Посадка шла на поезд Москва—Калининград, который проходил через Минск. Как я ни старался проникнуть сквозь цепь охраны, все мои попытки оказались тщетными. Тогда я решил действовать иным путем. Я прошел вперед по железнодорожной линии

несколько сот метров и там, спрятавшись за какой-то столб, стал ждать своего поезда. Примерно через полчаса поезд начал приближаться, постепенно набирая скорость. Когда он поравнялся со мной, он двигался уже довольно быстро. Пропустив несколько вагонов, я нацелился и вскочил на одну из ступенек, благо в тех вагонах ступеньки были наружные. Затем я перебрался на переходную площадку, а оттуда уже забрался на крышу вагона. Там было просторнее, можно было полежать, да и меньше опасности, что заметит поездная охрана. Примостившись поудобнее на крыше вагона, я мчался к своей конечной станции.

До Минска я добрался сравнительно благополучно. Приехал поздно вечером на следующий день и тут же с вокзала пошел к своей тетушке, которая жила на окраине города. Меня встретили со смешанным чувством — радостно, но вместе с тем испуганно. Я их успокоил, сказав, что задержусь у них всего дня на два. В справке, которую я получил из лагеря, было указано, что я еду до станции Греск — это в ста километрах от Минска — жить в Минске мне не разрешили. Назавтра я пошел в институт, зашел к замдиректора института, который в свое время написал мне положительную характеристику, так что он был в курсе дела. Я рассказал ему о всех своих перипетиях, и что в конце концов с меня сняли обвинение и освободили. Теперь я хочу восстановиться в институте. Он тут же дал указание в отдел кадров, и меня снова зачислили. Надо сказать, что в то время поступить в институт было не так сложно: во многих институтах был недобор. Были каникулы, и я поехал в деревню Дравовщину, чтобы немного отдохнуть и откормиться. В деревне были рады моему приезду, так как любили меня и даже считали меня в какой-то мере своим родственником. Кроме того, все время, что я был у них в гостях, я помогал им по хозяйству. Колхозов тогда там еще не было, а хозяйство было сравнительно большое, и старику-хозяину было уже трудно справляться с работой. Дети его давно отделились, имели свои семьи, свои хозяйства.

Осенью я вернулся в институт и получил место в общежитии, которое размещалось в бывших немецких бараках. Прописался по паспорту, который был у меня еще до ареста. Он сохранился дома, так как меня арестовали прямо в

институте и домашнего обыска не делали. Благодаря этой счастливой случайности мне удалось прописаться в Минске.

Существовала еще карточная система. Жил я только на стипендию, помощи ни от кого не было. Нагрузка в институте была большая. Вдобавок к теоретическим занятиям, ежедневно по три—четыре часа мы занимались различными видами спорта. Питались в студенческой столовой, которая размещалась в одном из барачных нашего общежития. Утром по карточкам я получал свою дневную норму хлеба, но во время лекций рука невольно тянулась в чемоданчик, где вместе с книгами и спортивной формой лежал оставшийся от завтрака хлеб. Незаметно отламывался кусок за куском, и обедать уже приходилось без хлеба.

Я всегда любил медицину, мечтал поступить в Медицинский институт, и такая возможность в то время была. Но Медицинский институт не мог обеспечить мне тот прожиточный минимум, который давал Институт физкультуры. В Институте физкультуры стипендия была повышенная, к тому же, так как мы занимались спортом, нам давали дополнительный паек. Кроме того, нам выдавали спортивную форму, которую можно было носить все время, и не надо было тратить деньги на одежду и обувь. Когда бывало очень трудно, я ходил на товарную станцию разгружать вагоны. Был и еще один источник дохода — донорство. Я сдавал по двести—триста граммов крови и получал за это деньги и талоны на обед. К концу второго года обучения стало уже немного легче. Я вырос как спортсмен, начал участвовать в соревнованиях по боксу, занимал призовые места и получал призы, которые, как правило, представляли собой в то время определенную денежную сумму. Вручался диплом, и к нему прилагали конверт с деньгами. И все же мне стоило огромного труда и напряжения добиться успехов в боксе: приходил на тренировку почти всегда полуголодный. Переносить в таком состоянии огромную физическую и нервную нагрузку было довольно трудно. Но желание быть сильным и физически независимым, чтобы уметь дать отпор любым нападениям антисемитов, придавало мне силы, выносливость и стремление к победе. В дальнейшем и в концлагере, и на "свободе" мне это существенно помогало, так как известно, что антисемиты проявляют свои чувства лишь тогда, когда эти проявления остаются безнаказанными.

Борьба с "космополитизмом" и "дело врачей"

Вскоре началась первая послевоенная широкая антисемитская кампания под девизом "Борьба с космополитизмом". Она проводилась в государственном масштабе и по инициативе сверху, а это значит — и с обычным в таких случаях размахом. Для проведения этой кампании был мобилизован весь гигантский пропагандистский аппарат Советской России, включая и прессу, и радио. Во всех учреждениях, особенно в научных и учебных заведениях проводились открытые партсобрания, на которых "разоблачали" космополитов, бичевали "преклонение перед иностранщиной". Все учебные пособия были переизданы или исправлены таким образом, чтобы почти все изобретения во всех областях науки принадлежали только русским ученым. Вся международная научная терминология была заменена русской. Спортивная терминология также была срочно заменена. Некоторые перепуганные профессора, чувствуя за собой какой-то "грешок", выходили на трибуну и сами себя бичевали, не дожидаясь, пока попадут в "космополиты", но это им мало помогало. Подавляющее большинство фамилий космополитов были еврейские, и вскоре уже слово "космополит" стало синонимом "еврея". Волна антисемитизма захлестнула всю страну. Все газеты пестрели фамилиями евреев-космополитов. Многих известных профессоров и крупных научных работников выгоняли с работы. Их книги изымались из библиотек и уничтожались. Русская наука, русская культура, русское искусство были подняты пропагандой на недостижимую высоту. Это было вершиной разнузданного великодержавного шовинизма. История науки переписывалась заново, и там уже основоположниками и главными творцами являлись, конечно, русские. Товарищ моего приятеля писал в то время работу по истории тульского оружейного завода. Как свидетельствовали архивные данные, основными творцами и мастерами этого завода были обрусевшие немцы — фамилии, имена и отчества у них были немецкие. Когда же он показал собранные данные своему руководителю, ему тут же было указано: "изменить все фамилии и имена на чисто русские, и чтобы в этой работе и духа немецкого не было". За легчайшую похвалу чего-ни-

будь иностранного немедленно выгоняли с работы, а многих подвергали аресту "за преклонение перед буржуазным строем". Мой знакомый инженер-строитель где-то положительно отозвался о кранах и умывальниках, которые он видел в Германии во время войны. Эта неосторожность стоила ему десяти лет концлагерей.

Вскоре в Минске было осуществлено зверское убийство известного еврейского артиста и общественного деятеля Михозлса. Хотя по первоначальной официальной версии в печати он погиб при автомобильной катастрофе, у нас на лекции по марксизму-ленинизму было объявлено, что его убили сами евреи, так как он слишком много знал об их делах и проделках, и они, опасаясь, что он может их выдать, решили его убрать. Многие лекторы дали полный выход своим антисемитским чувствам, все их лекции были увязаны с еврейством, космополитизмом и сионизмом. Еврейский театр, издательства и библиотеки были разгромлены. В Минске до войны был постоянный еврейский театр, пользовавшийся большой популярностью у зрителей. Он помещался в бывшей хоральной синагоге, которая была хорошо переоборудована. Во время войны театр сгорел и остался лишь остов. Евреи обратились тогда к Председателю Совета Министров БССР Пономаренко с просьбой восстановить помещение театра, где еврейская труппа могла бы продолжать свою работу. Он им без обиняков ответил, что мы живем в Белорусской республике, а не в еврейской. Театр был восстановлен, но уже как Русский драматический театр. Он существует по сей день. А еврейский театр вынужден был скитаться, не имея постоянного места. Впоследствии он был ликвидирован, а основной массе актеров пришлось работать на должностях, никак не связанных с искусством.

Многих людей, отсидевших срок и после войны вернувшихся домой, хватало и без суда и следствия ссылали этапом опять в Сибирь. Атмосфера в Минске была гнетущая, евреи были запуганы, затравлены и боялись собственной тени. Чувство национального достоинства было подавлено, загнано в дальний угол и придавлено русским сапогом. Кульминацией послевоенного антисемитизма явилось знаменитое дело врачей. Это был разгул самых темных сил красной реакции. О деле врачей написано много. Еще до

официального сообщения мы знали, что сняли министра здравоохранения и посадили группу врачей. После официального сообщения в печати в январе 1953 года о деле врачей все самые низменные антисемитские инстинкты, которые прежде кое-как сдерживались, с ревом прорвались наружу и захлестнули всю страну.

История человечества знает немало антисемитских процессов и кампаний, но когда это происходит в свободной стране, то евреи и нееврейская прогрессивная общественность могут отстаивать свои права и справедливость. Когда же подобная кампания проводится тоталитарным режимом, когда на ее проведение мобилируются огромные пропагандистские силы страны, которые обрабатывают общественное мнение, а КГБ уже на этой удобренной почве завершает работу, тогда это гораздо страшнее. Самое ужасное в этой кампании было не то, что сообщала официальная пропаганда, а как реагировал народ. Подавляющее большинство населения — от полуграмотных колхозников до рафинированных интеллигентов и крупных руководящих работников — все они с каким-то особым удовольствием смаковали эти сообщения. Верили всем самым нелепым, на какие только способна антисемитская фантазия, слухам, которыми была насыщена атмосфера, слухам, в которых не было ни логики, ни здравого смысла. Но они верили, верили потому, что хотели верить, потому что это приходилось им по их антисемитскому нутру, эмоционально удовлетворяло. Антисемитизм, как известно, является больше явлением эмоциональным, чем рациональным. На улицах, в автобусах, на работе только и говорили о евреях, и разговоры эти были полны самых отвратительных измышлений. На многих предприятиях устраивали митинги, которые носили чисто антисемитский характер. Многих евреев выгоняли с работы, особенно врачей. Участковых врачей-евреев, которые приходили на дом по вызову, выгоняли с криком: "Уходите вон, отравители! Вы приходите отравлять наших детей!" Многие евреи, особенно с ярко выраженным семитским профилем, боялись выйти на улицу, сесть в троллейбус или зайти в общественное место. Было много случаев, когда избивали евреев на улице, и почти каждый прохожий старался внести свою лепту в это "святое" дело. Когда антисемитский накал

достиг апогея, было объявлено о реабилитации врачей. Но как объявлено? Каким контрастом — кричащим обвинением врачей-убийц, крупным шрифтом на первых страницах, — было короткое сообщение об их реабилитации. Оказывается, они были невинно арестованы, а ответственность несут отдельные работники КГБ — Игнатъев, Рюмин и другие. А о зверских пытках, которым подвергались врачи, было мягко сообщено, что к ним применялись недозволённые методы следствия. Вот и все. Естественно, что это сообщение ни в малейшей мере не могло нейтрализовать недавние потоки антисемитского яда.

Ничто так не потрясло Советский Союз за все время его существования, как смерть Сталина. В первый день сообщения о его смерти какая-то старушка принесла вазон с цветами и поставила его у памятника, который стоял на центральной площади Минска. И за ней пошли толпы людей с цветами, венками, и вскоре вся огромная площадь была уставлена цветами, и чтобы только попасть на эту площадь, надо было выстоять огромную очередь. Самое трагичное, что многие искренне верили в "генералиссимуса", "отца", "учителя". Даже когда начали открыто говорить о его преступлениях, многие старались найти какие-то оправдания и искать положительное в его деятельности. "Да, — говорили они, — все это было следствием его излишней доверчивости, его приближенные дезинформировали его". Все зверства, уничтожение десятков миллионов людей считалось делом рук Берии и его сообщников. "Кроме того, — говорили они, — война-то все-таки была выиграна им, это ведь факт". Психологически их можно было понять — трудно было расстаться с идолом, которому поклонялись всю жизнь. Без него они чувствовали себя опустошенными. А без веры во что-то и в кого-то человек не живет, а существует, не горит, а тлеет. Он единственный заполнял их разум и сердце, ему и в него они верили с религиозным фанатизмом. Люди умирали на фронте, в застенках гестапо или НКВД, произносилось не "мама", не имя любимой, а имя Сталина. Мне повезло — еще задолго до его смерти я встречался с людьми, которые мне рассказывали правду. Такие люди, к счастью, были, но большинство боялось рассказывать правду не только кому-нибудь чужому, но даже детям и жене. Когда

после его смерти все еще были в трауре, в одном кругу товарищей, которые сами весьма критически относились к советской власти, я сказал: "Да, жаль только, что это не случилось 30 лет назад". На меня бросились чуть не с кулаками. Впоследствии они сами смеялись над своей тогдашней наивностью.

Смерть тирана сделала свое дело, и постепенно люди начали прозревать. Особенно большое значение имела тогда речь Хрущева на XX съезде КПСС и чтение закрытого письма "О культе личности и его последствиях". Для людей большое значение имело то, что оно исходило от ЦК Партии, так как они еще по инерции верили партии. Магическая сила идола была развенчана, и люди иными глазами стали смотреть на происходящее. Как ни старался в дальнейшем Хрущев занять его место, но получился лишь фарс, он был всеобщим посмешищем. Но за старое цеплялся мертвой хваткой огромный партийно-государственный аппарат. Правители прекрасно понимали, что с изменением структуры государства они лишатся своего привилегированного положения, а этого никому не хотелось. Кроме того, на совести многих из них лежит гибель невинно замученных в советских концлагерях, и с них могли за это спросить. Это понимали все — от районных работников до работников ЦК и Совета Министров СССР. Поэтому они могли пойти на некоторые реформы, относительную либерализацию, но только не против самих устоев советской власти. И даже те критически мыслящие ответственные работники, которые понимали, что сама структура государства породила культ личности и авторитарный режим, старались сохранить его, так как, сохранив его, они сохраняли свое привилегированное положение. Если в свободном мире состояние капиталиста находится в его сейфе, то в Советском Союзе, в стране государственного капитализма, капиталом партийно-государственного чиновника является его служебное положение. Пока он занимает свой пост, у него есть все — и высокий оклад, и машина, и дача за государственный счет, ему гарантировано, что дети его поступят в лучшие ВУЗы страны, он пользуется закрытыми лечебными учреждениями. Для него везде — "зеленая улица". Лишившись же своего поста, он лишается всех привилегий — основы своего

благополучия. Эта материальная зависимость, зависимость будущего своей семьи, своих детей, заставляет советского чиновника делать даже то, что противоречит его взглядам, его мировоззрению. И лишь у единиц хватает мужества и воли пожертвовать своим привилегированным положением ради принципов.

Мое национальное пробуждение

Постепенно все мои спонтанно возникавшие чувства и осознание себя евреем начали формироваться в определенную систему. Но познания мои в еврейском вопросе были весьма скудными. Я не знал ни еврейской истории, ни языка, ни традиций, ни культуры, ни литературы, ни современного Израиля. Я начал жадно искать все, что было хоть как-то связано с еврейскими проблемами. Ходил в Центральную городскую библиотеку и перебирал там горы подшивок старых газет. Надо сказать, что Минск во время войны был разрушен на девяносто процентов, было уничтожено огромное количество книг — как из общественных библиотек, так и из частных. Я стал завсегдаем букинистического магазина, и все, что там появлялось на еврейскую тему, сразу же покупал. Беседовал со стариками, которые что-то знали о древней еврейской истории и еще помнили новейшую. Покупал русскую литературу, где хотя бы упоминалось о евреях. Затем я стал регулярно слушать "Голос Израиля" на идиш и, хотя я далеко не все понимал, но даже то, что я схватывал, являлось для меня колоссальным богатством.

Я не могу указать время, событие или личность, которые заставили меня почувствовать себя евреем-сионистом. После войны я в основном находился среди русских. Но я никогда не старался приспособливаться к ним, не старался быть похожим на них. Хотя многие меня и не принимали за еврея, я никогда не забывал, что я еврей. Если все пережитое и виденное мною в гетто и в лагере воспринималось в основном эмоционально, то в дальнейшем, когда я уже повзрослел, все это начало принимать у меня весьма четкую

осознанную форму. И все пережитое в детстве я пережил вторично в воспоминаниях, но пережил уже осознанно. Все это привело меня к убеждению, что я нахожусь здесь на правах непрошеного гостя, которого еще как-то терпят, пока все идет хорошо. Но стоит где-то споткнуться, мне сразу же напомним, что я не хозяин в этом доме и должен вести себя соответственно. Я пришел к заключению, что мне, как и каждому еврею, который хочет оставаться евреем, надо иметь свой дом. А единственным домом может быть лишь Израиль — историческая родина евреев. Все мои помыслы, вся энергия, все средства были направлены на достижение этой заветной цели. Все события, свидетелем которых я был, все вопросы, которые я решал — все это проходило у меня через национальную призму. Я гордился тем, что я еврей, и старался передать эту гордость тем ребятам, с которыми общался. К этому времени я уже кое-что знал из еврейской истории и традиции. Все свое свободное время и средства я тратил на поиски и приобретение интересующей меня информации.

В 1955 году я впервые поехал в Ригу на спортивные соревнования. То, что я увидел там, меня потрясло. Тогда, и в последующие годы, когда я приезжал в Ригу, у меня было ощущение, будто я приезжал за границу. На улицах слышна еврейская речь. Евреи соблюдают национальные обычаи и традиции, собираются вместе, отмечают еврейские праздники. В Минске ничего похожего не было. В Риге, которая находилась под советской властью лишь в послевоенный период, если не считать короткого времени перед войной, сохранились старые традиции, сохранилось много евреев, которые были в свое время активными деятелями различных еврейских организаций, особенно Бейтара, сохранились богатые еврейские библиотеки. В первую очередь я пошел искать букинистический магазин. В одном из центральных букинистических магазинов я начал жадно искать на полках книги с еврейским шрифтом. Потом я спросил у продавщицы: "Какие у вас есть книги на еврейскую тематику?" Она мне что-то назвала, но в это время стоящий возле меня мужчина спросил: "А что это вас интересует еврейская тематика? Откуда вы?" Я ему ответил, что я из Минска, приехал сюда на спортивные соревнования. Он подозритель-

но на меня посмотрел и спросил, чем я могу доказать, кто я. Я ему показал удостоверение, что я являюсь судьей на проходящих соревнованиях по боксу. Мы разговорились, и он пригласил меня к себе домой. Когда я вошел в его маленькую комнатку, которая вся была уставлена книгами — книгами, которые я так жадно искал, у меня было ощущение, что я попал в тайник, в котором спрятаны огромные сокровища, а на полках от пола до потолка стоят слитки золота. Я стоял вначале зачарованный всем этим, а затем стал быстренько листать все подряд, чтобы успеть побольше просмотреть. Он мне кое-что рассказывал об Израиле, а я, в свою очередь, засыпал его вопросами. Многие из них были довольно наивны. Но мое блаженство продолжалось недолго, подозрения его, очевидно, не уменьшились, и он стал торопиться куда-то. Мы распрощались; вторично мы с ним встретились в Израиле, в первый день после моего приезда.

По возвращении в Минск я продолжал свои поиски. Случайно достал в читальном зале центральной библиотеки брошюру Горького об антисемитизме, в которой он жестоко бичует русский народ за его отношение к евреям. Он писал, что евреи воюют вместе с русскими на фронте (это было после Первой мировой войны), мерзнут в окопах и кормят вшей, а в это время их жен и сестер убивают, насилюют и грабят. Я, конечно, сразу же полностью переписал эту брошюру, и у меня оказался прекрасный материал, которым я мог пользоваться в беседах с ассимилированными евреями, еще не освободившимися от оцепенившего их страха. Не ко всем можно было подойти сразу с израильской тематикой, так как это могло отпугнуть, но общеврейский вопрос, да еще брошюра, которую написал сам Горький, считающийся основоположником советской литературы, брошюра, напечатанная в Советском Союзе, пускай в 1918 году — это не так страшно, не страшно и интересно, особенно про антисемитизм, который чувствуется во всем. Все это я адресовал в основном старшему и среднему поколению, большая же часть молодежи вообще этим вопросом не интересовалась, а продолжала жить идеалами, внушенными советской литературой. Тогда же достал я журнал, который издавался под редакцией того же Горького — "Щит". Этот

журнал издавался во время Первой мировой войны для защиты евреев от антисемитских обвинений их в шпионаже в пользу немцев. Я вырезал и переписывал отдельные заметки на еврейскую тему из подшивок старых газет, в том числе выступления Громыко и Царапкина в связи с образованием Государства Израиль. Эти крохи, которые с трудом удавалось собрать, были единственным средством пробить ту скорлупу, в которой замкнулось большинство евреев, напомнить, что они евреи не только тогда, когда им об этом напоминает антисемитизм официальный и неофициальный, пробудить в них какой-то интерес к еврейскому вопросу и показать, что есть еще евреи, которые интересуются историей своего народа, еврейской культурой и Израилем. Нужны были огромные усилия, величайшая осторожность и такт, чтобы пробудить в них интерес к своему народу, чувство национального достоинства.

Опасные встречи

Вскоре мне впервые пришлось встретиться с евреями из свободного мира. Это были американские туристы. На одном из еврейских концертов, которые изредка бывали в Минске, я увидел пожилую пару, которая выделялась на общем фоне. Говорили они по-английски. Ясно было, что это иностранные туристы. Люди из свободного мира, да еще евреи — я, конечно, не мог удержаться, чтобы не подойти к ним. Разговорились. Оказалось, что это американцы, совершавшие поездку по разным странам мира. Были в Германии, где служил их сын в американских войсках. Были в Москве, где нашли свою родственницу. Приехали в Минск, где хотели навестить родные места, которые они покинули 50 лет тому назад, но туда им поехать не разрешили, так как это местечко не входило в их маршрут — оно находилось в 60 километрах от Минска. Из Советского Союза они собирались поехать в Израиль. Обстановка в театре не позволяла долго разговаривать, и мы условились встретиться на завтра в гостинице, где они остановились. Это было в 1956 году, в период, когда был слегка приподнят железный занавес и

понемногу начали приезжать туристы из капиталистических стран. Хотя я уже знал о слежке и подслушивании, но еще не догадывался, что всех иностранных туристов в гостиницах помещают в особые номера, оборудованные подслушивающей аппаратурой. Я приходил к ним дважды. Это была моя первая личная встреча с иностранцами. Вопросов у меня была уйма. Меня интересовало все и прежде всего новости с "еврейской улицы". Я подробно расспрашивал их о жизни евреев в Америке, о еврейских организациях, о еврейской культуре и, разумеется, я выжал из них все, что только можно было выжать об Израиле. Сам я рассказывал им о положении евреев в Советском Союзе, начиная со времен немецкой оккупации и до дней нашей встречи. Рассказывал о всех волнах антисемитского разгула, свидетелем которого я являлся. Обо всем этом я просил их рассказать евреям Америки и, конечно, Израиля, куда они собирались отправиться через несколько дней. Потом на следствии мне зачитали все эти разговоры. Я только удивлялся, как они смогли расшифровать эту невероятную языковую смесь, на которой я разговаривал. Это было полуграмотное сочетание английских, немецких и еврейских (идиш) слов. Но все это было переведено, отпечатано и подшито в отдельную папку, которую следователь всякий раз вытаскивал, чтобы подкрепить то или иное обвинение.

Летом 1957 года состоялся в Москве очередной Международный фестиваль молодежи. Из печати я узнал, что в нем будет участвовать и израильская делегация. Я загорелся желанием поехать в Москву и увидеть своими глазами живого израильянина. Это стало моей ближайшей целью. К фестивалю начали готовиться еще задолго до его начала. В Минске, в Институте иностранных языков стали подбирать переводчиков. Отбирал ЦК комсомола. Один из секретарей ЦК, председатель отборочной комиссии сказал: "Нам нужно, чтобы это были прежде всего хорошие граждане нашей страны, а потом уже хорошие переводчики". Пошли слухи, что на время фестиваля въезд в Москву закроют. Опасаясь этого, я поехал раньше в Ленинград на спортивные соревнования, а оттуда уже решил поехать в Москву. Но в Ленинграде тогда тоже оказалось бурное время. Там дважды пришлось отмечать 250-летие города. Первый раз на празднова-

ние юбилея приехал Маленков, второй раз — Хрущев. На митинг, который был проведен на Дворцовой площади, организованно привозили и приводили ленинградцев, причем в каждой группе был выделен парработник, ответственный за соблюдение порядка. Хрущев был огражден от народа лесом солдатских штыков.

Для уверенности я поехал в Москву за неделю до начала фестиваля. Прежде всего я хотел узнать, когда и на какой вокзал прибудет делегация Израиля. Но не тут-то было. Сколько я ни обращался в Комитет по организации фестиваля, чтобы узнать, когда прибудет делегация Израиля, всегда следовал один и тот же ответ: "Не знаем еще сами". Так мне и не удалось встретить ее на вокзале. Но когда я узнал, что на центральном стадионе будет репетиция для всех делегаций, я сразу же ринулся туда. Я искал какой-нибудь признак израильской делегации. И вот издали увидел я израильские флаги и израильтян и бросился к ним. Иврита я не знал совершенно, идиш понимал, но говорил очень плохо, немного говорил по-английски. Я начал расспрашивать их обо всем, хотелось говорить и говорить. Но вскоре они собрались уезжать в гостиницу. Я узнал, что они разместились в Тимирязевской академии, и с того момента я с раннего утра до позднего вечера не отходил от своей делегации. Хотелось говорить с ними, хотелось побольше узнать, хотелось просто смотреть на них, на этих парней и девушек, евреев, таких же как и я, но свободных и независимых. Всегда любую группу, любого члена израильской делегации окружало много евреев. Я разговорился с ними и оказалось, что многие из них, как и я, специально, приехали со всех концов России, чтобы увидеть собственными глазами посланцев своей страны. Разумеется, делегацию окружали не только друзья. Ее постоянно окружали агенты КГБ, которые следили за каждым из них, и за всеми, кто с ними общался. Следили, конечно, за всеми делегациями, но израильской делегации уделяли особое внимание. До последнего момента израильтяне не знали, куда их повезут для репетиции. Для того, чтобы их сбить с толку, им называли одно место, а везли в другое. Был я на концерте израильской делегации, который проходил в Останкинском парке вместе с концертами делегаций Нидерландов и Армянской Республики. Туда

пришло много евреев, чтобы посмотреть на народные танцы и песни и на самих исполнителей. Израильтяне всегда были окружены евреями, и со всех сторон их засыпали вопросами. Тем, кто никогда не слышал из официальных источников доброго слова о своей стране, кого постоянно заливали потоками грязи и лжи о своем народе, о своем государстве, хотелось узнать правду. Вопреки всем препонам, чинимым израильской делегации советскими властями, ее все же находили, ее смотрели и слушали тысячи евреев. Я все время ходил с фотоаппаратом и фотографировал делегацию целиком, отдельных ее представителей, мой национальный флаг. У меня до сих пор сохранились несколько фотографий, уцелевших после обысков КГБ.

Кульминацией для евреев был национальный день израильской делегации. Согласно программе и билетам концерт должен был состояться в театре им. Пушкина, но перед самым началом, следуя своей прежней тактике, организационный комитет перенес концерт в театр им. Моссовета. Билеты были розданы по различным организациям, и большинство их досталось, конечно, не евреям. Многие евреи попросту покупали билеты у тех, для кого этот концерт не представлял особого интереса. Но организаторы фестиваля и здесь нашли выход из положения. Желая свести к минимуму число еврейских зрителей, они пустили в зал через черный ход посторонних людей только для того, чтобы заполнить зал. Потом объявили, что все места заняты, и никого даже с билетами пускать не станут. Площадь перед театром была запружена людьми. Люди рвались в зал, но их не пускали. Вначале за порядком наблюдали лишь дружинники, затем вызвали милицию, а когда и милиция не смогла справиться, вызвали войска МВД. Было много стычек, многих отправили в милицию. Выходящих из здания театра представителей израильской делегации окружали и умоляли провести их. Но они, разумеется, были бессильны. Несмотря на все это, вопреки всем препятствиям и ограничениям, так грубо чинимым организаторами фестиваля, концерт все же прошел с большим успехом. Там же у Моссовета я познакомился с одним из руководителей делегации. Мы с ним договорились, что на завтра я приду к Тимирязевской академии и смогу получить там кое-что из литературы и сувениров для

Минска. Назавтра утром в назначенный час я поехал к месту встречи. Не доходя до Академии, я увидел две израильские машины. У одной из них был поднят копот, и водители вроде бы копошились в моторе. Когда я подошел поближе, из одной машины вышел руководитель делегации и, подойдя ко мне, рассказал, что вчера их вызвали в Комитет по организации фестиваля и обрушили на них всяческие обвинения. Дескать, они занимаются антисоветской пропагандой, распространяют сионистскую литературу и тому подобное. Он мне сказал, что им-то бояться нечего, в худшем случае их могут выслать раньше времени — и все, а со мной могут расправиться иначе, — он тут показал мне человека, стоящего под деревом и внимательно наблюдающего за всем происходящим. Мы договорились, как в дальнейшем поддерживать связь, он дал мне свой израильский адрес (который после ареста был изъят), и мы с ним распрощались. Я ушел с пустым чемоданчиком, который прихватил с собой для литературы.

Как только я начал удаляться, за мной сразу последовал "хвост", который стоял у дерева. У меня при себе ничего компрометирующего не было, и я шел, ничего не боясь. "Хвост" сохранял дистанцию, метров 15. Я останавливался, и он останавливался, я ускорял шаг, и сразу же он следовал моему примеру. Делал он это открыто и нагло, так как знал, что я его уже вижу. Я вошел в трамвай, он сразу же вскочил за мной, через две остановки я вышел и вскочил в трамвай, идущий в противоположную сторону, и он проделал все то же. Через несколько остановок я вышел из трамвая и пошел на станцию метро. Он сократил расстояние до нескольких метров. Я спустился вниз по эскалатору. Людей было полно, вагоны были набиты до предела. Я вошел в один из вагонов, и он — тут как тут. Я все же решил во что бы то ни стало уйти от него, чтобы он не узнал, где я живу и с кем общаюсь. Когда из второй двери еще выходили пассажиры, я стал пробираться вперед к площадке, как будто хочу встать в более удобном месте возле окна. "Хвост" находился в нескольких метрах от меня. Но между нами было полно народу. И как только последний пассажир вышел, я одним прыжком выскочил из вагона, остановился и стал наблюдать, как он, бешено расталкивая локтями пассажиров,

пробирается к двери. Но увы! Двери сомкнулись, и поезд двинулся. Я стоял на перроне, а он в вагоне. Мы смотрели друг на друга. Я видел бегающие глаза загнанного зверя. Я не утерпел — показал ему нос и помахал рукой. Нужно отдать ему должное — он оказался добросовестным сыщиком. В своем отчете он описал все подробности слежки. Потом на следствии мне все это рассказали, припомнив даже нос. От него-то я ушел, но, как потом оказалось, я ушел только от него, но оставался в их поле зрения. Несколькими днями раньше, будучи возле Тимирязевской академии, я увидел одну женщину среди делегатов, которая свободно разговаривала по-русски. Я бросился к ней и начал задавать ей массу вопросов, начиная с того, что означает семисвечник, который был на груди у делегатов. Она очень подробно рассказала историю меноры и ответила на множество моих вопросов. Это была сотрудница нашего посольства. Я решил сохранить с ней связь и в дальнейшем, после отъезда делегации. Она мне сказала свой номер телефона, и я, тогда еще будучи неопытным, вытащил записную книжку. Но она предупредила, чтобы я ничего не записывал, а только запоминал. Мы договорились с ней, каким образом в дальнейшем мы сможем связаться. Через день я позвонил ей и условным кодом договорился, в какое время я буду на заранее условленном месте, то есть в отделе грампластинок ГУМа. Я пришел туда раньше, народу было полно, у прилавков стояли большие очереди. Я выбрал наиболее удобное место, с которого мог наблюдать за входом. В точно назначенное время она вместе с мужем и двумя детьми появилась в отделе. Я вышел из своего угла, она тут же заметила меня и незаметно указала на меня мужу. Немного потолкавшись в очереди, он подошел к висящей таблице с перечнем всех имеющихся пластинок, вытащил записную книжку и стал будто бы записывать нужные пластинки. Глядя на таблицу, я тоже приблизился и стал разглядывать список пластинок. Мы приступили сразу же к деловому разговору. Я ему ответил на его вопросы о Минске, и мы договорились о дальнейших встречах. Он ушел в одну сторону, а через некоторое время я ушел в другую. Вернувшись в дом, где я остановился, я узнал, что приходил какой-то человек к соседям и расспрашивал обо мне — кто

я, откуда я. Но ни соседи, ни хозяева не придали этому большого значения, а просто решили, что милиция интересуется, кто здесь проживает без прописки, а так как я приехал всего лишь на дни фестиваля, то это не грозило им ничем серьезным, ибо таких как я было полно. Фестиваль подошел к концу. Я начал собираться обратно в Минск. Несмотря на все препятствия, мне все же удалось собрать некоторое количество литературы, брошюр, словарей и сувениров. Для меня это было большим богатством. Я представлял себе, как будут радоваться и жадно все это читать ребята в Минске, для которых каждое слово, каждая вещичка из Израиля драгоценны. В Минске я постоянно ходил нагруженный сувенирами, календариками и брошюрами, которые я при каждом удобном случае показывал и давал почитать. Каждый выпрашивал у меня какой-нибудь сувенир, но их было немного, и каждого удовлетворить было невозможно. Я был полон впечатлений от фестиваля и без устали рассказывал, что и кого видел. Рассказывал об Израиле правду, полученную из первых рук. Встреча с настоящими израильтянами расширила мой кругозор, обогатила меня информацией, дала мне еще раз понять разницу между галутом и родиной. Вскоре мне опять улыбнулось счастье. Один из знакомых спортсменов, который ездил с командой борцов в Польшу на соревнования, привез мне много разной литературы. Там были газеты и журналы на идиш, иврите и русском. Они были из Израиля и из Франции. Была брошюра на русском языке об антисемитизме. В то время в советской печати, особенно в "Труде" и "Комсомольской правде", появились серии антиизраильских статей, авторами которых были известные евреи — Л. Шейнин и Д. Заславский. В брошюре был дан достойный ответ на все это, а также была статья об истории антисемитизма. Брошюра пользовалась большой популярностью среди евреев Минска. Жажда знаний по еврейскому вопросу и желание передать их другим были так велики, я так горел всем этим, что забыл всякую осторожность, тем более, что опыта конспирации у меня не было. Единственный источник, где я пытался почерпнуть кое-какие сведения о конспирации — это советская и переводная литература о разведке и подполье.

Слежка

Вскоре я почувствовал, что привлек внимание кагэбешников. Как позже выяснилось, впервые меня засекли в гостинице при встрече с американскими туристами. Я в то время работал в Минском Политехническом институте преподавателем физкультуры. Институт был большой, в нем занималось около девяти тысяч студентов. Директор этого института М. Дорошевич был крупной фигурой в республике. Он был членом ЦК КПБ, а позже, после моего ареста, стал министром высшего образования. С рядовыми преподавателями он почти не общался. Руководство осуществлялось через завкафедрами или проректора по учебной части. Я с ним никогда не разговаривал, и он меня даже не знал в лицо. И вот однажды он звонит на кафедру и просит меня к телефону. У меня в это время занятий не было, я должен был прийти через час. Тогда он приказал взять его ЗИМ и срочно поехать за мной домой. Все на кафедре были поражены таким вниманием ко мне самого директора. Но машина еще не успела выехать, как я появился на кафедре. Мне хором сообщили, что меня вызывает Михаил Васильевич. Сначала я не поверил и подумал, что это шутка. Но завкафедрой тут же позвонил директору и передал мне трубку. И действительно, сам Михаил Васильевич просил зайти к нему в кабинет. Сколько я ни перебирал в памяти возможные причины, побудившие его спуститься до меня, так и не смог догадаться. Зайдя в его огромный кабинет, я направился по длинной красной дорожке к столу. Он внимательно, с любопытством начал меня рассматривать, ничего не говоря. Вид у него был полурастерянный. Затем он начал задавать мне ничего не значащие вопросы о жизни, о работе, о семье. Чувствовалось, что он сам не знал, с чего начать. Я решил ему помочь и спросил: "Вы меня, Михаил Васильевич, вызвали по какому-то делу?" Он торопливо заговорил: "Да, да. Вот, знаете, здесь у нас недавно была ревизионная комиссия, и она обнаружила, что у вас в деле не хватает какой-то анкеты. Зайдите, пожалуйста, к Пирогову, заполните ее, и он вам все объяснит". (Пирогов был начальником отдела кадров, только что демобилизованный полковник. Известно, что все начальники отдела кадров

связаны с КГБ и милицией). Все это выглядело настолько нелепо, настолько нелогично, что у любого, даже абсолютно чистого перед властями человека это бы сразу вызвало подозрения.

Чувствовалось, что сотрудники КГБ не подготовили его как следует к разговору со мной. Во-первых, действительно, была ревизия, но ревизия была финансовая и никакого отношения к личным делам не имела. Во-вторых, это не могло быть так срочно, чтобы посылать свою персональную машину за мной. И в конце концов сам Пирогов мог решить этот вопрос без директора. Зайдя к Пирогову, я спрашиваю: "В чем дело?" Он мне отвечает: "Вам ведь, наверное, объяснил Михаил Васильевич". И не стал мне ничего объяснять, боясь, что его объяснения и объяснения директора разойдутся. Вид у него тоже был настороженный. Затем он попросил меня заполнить три анкеты. Одну — обычную, для поступающих на работу, другую — для военкомата со специальными вопросами, а третью, толстую анкету — для поездок за границу. В ней нужно было указать все подробности о близких и дальних родственниках, бабушках, дедушках и тому подобное. На большинство из этих вопросов я ничего не ответил, так как действительно не знал, что писать. Я почувствовал чью-то явную заинтересованность во мне. После того как я по мере способностей заполнил все анкеты, я побежал на кафедру и попросил заменить меня на первом уроке, а сам на такси помчался домой. Я решил прежде всего убрать всю "крамольную" литературу из дому. Собрав все, что мне казалось тогда "крамольным", в один чемодан, я отнес его к своему знакомому, который жил недалеко от меня. И квартира его, и он сам казались мне весьма надежными. Домашние советовали мне немедленно все уничтожить, так как лишь в этом случае у меня будет гарантия, что ничего не найдут. Но у меня попросту не подымалась рука уничтожить все то, что я таким трудом собрал, и что представляло такую ценность.

Советов я не послушал, а сделал по-своему. После этого жизнь как будто вошла в обычную колею. Работал, иногда выезжал в другие города, встречался с друзьями, но уже появилась у меня какая-то настороженность. Я стал замечать

подозрительных лиц, которые часами дежурили около моего дома. Появились "хвосты". В дальнейшем я уже узнавал их издали. Некоторые ходили за мной осторожно, другие же открыто, нагло. Иногда я заводил с ними игру и нарочно путал следы — то забегал в проходные дворы, в подъезды, то вскакивал на ходу в проходящий трамвай. Однажды я решил наказать одного из них, наиболее нахального, который преследовал меня как тень. Он ходил целый вечер за мной, сохраняя дистанцию в три-пять метров. Я заходил в магазины, в автобусы, садился в такси, но он всегда был рядом и цинично улыбался. Я вскочил в один из темных подъездов и спрятался за открытую дверь. Он вбежал за мной, побежал вверх по лестнице, остановился и стал прислушиваться, какую же дверь я открою. Он поднялся на верхний этаж, зажигал там спички, очевидно, читая фамилии жильцов. Опять прислушивался, но ничего так и не услышал. Затем он стал разочарованно спускаться вниз. Дверь подъезда была открыта, свет с улицы слегка освещал его. Сам я находился в неосвещенном углу за дверью, и он меня видеть не мог. Когда он поравнялся с дверью, я коротким и резким ударом в челюсть свалил его на пол, затем, перепрыгнув через него, выскочил на улицу и поехал домой. Об этом факте он, видимо, постеснялся рассказать в своем отчете. Во всяком случае, потом на следствии об этом не упоминалось. По-видимому, руководство института по рекомендации КГБ решило рассеять подозрения, возникшие у меня в связи с неожиданным вызовом к директору и заполнением анкет. Две недели спустя начальник отдела кадров Пирогов вызвал меня к себе и говорит: "Сейчас я могу вам сказать, для чего мы предложили вам заполнить анкеты. Дело в том, что военкомат хочет послать вас за границу, а именно, в ГДР в советские войска для работы инструктором по физподготовке. Вы согласны?" "Да, почему же нет?" — ответил я. "Тогда хорошо. Ждите ответа, но только никому об этом говорить не следует". Это наивное объяснение еще больше насторожило меня. Во-первых, было известно, что евреев очень редко посылают за границу служить в армии. Во-вторых, у нас на кафедре имелись более подходящие кандидатуры для этого — русские, и моложе меня. Да и форма самого предложения была необычной. Я сделал вид, что

поверил этому объяснению, а сам начал замечать следы. Мне приходилось часто разъезжать по разным городам. Ездил со спортсменами и как тренер, и как судья. Кроме того, меня часто посылали в разные спортивные организации как общественного инспектора для проверки их работы.

СЛЕДСТВИЕ

Снова арест

В начале декабря 1958 года мне позвонили из республиканского Комитета по физкультуре и спорту и предложили поехать в Гомель для проверки работы местной спортивной организации. Эта поездка была для меня не обязательна, так как моей основной работой было преподавание, а командировки — общественной нагрузкой. Я сам выбирал эти поездки. Если поездка представляла для меня интерес — я ездил, если нет — отказывался. Теперь же у меня не было никакого желания ехать, и я отказался. Но Комитет физкультуры (как потом оказалось, под давлением КГБ) всячески уговаривал меня. Они даже нажимали на меня через моего завкафедрой, который всегда был противником командировок во время занятий. Звонил мне домой зам-председателя республиканского комитета и уговаривал поехать в последний раз (как в воду глядел), так как им нужен был срочный отчет о работе Гомельского областного комитета физкультуры и спорта. В конце концов я поддался на уговоры и согласился поехать. Тем более, что следы свои я замел, а если что-то и готовится, то пускай это будет поскорее. Поезд мой уходил в час ночи. Весь вечер я нервничал и говорил дома, что мне почему-то ужасно не хочется ехать. Я предчувствовал какую-то беду. Но уже перевалило за двенадцать, и я пошел на вокзал — он был в десяти минутах ходьбы от дома. Сел в вагон, занял свое место в купе. Всю ночь я ворочался и глотал таблетки от головной боли. Поезд прибыл на станцию Гомель в пять утра.

Я вышел из вагона и пошел через туннель на вокзал. Когда я выходил из туннеля, меня вдруг кто-то окликнул: "Вы будете товарищ Рубин?" Я ответил: "Да, я". Это был мужчина лет 50 в длинном пальто и сапогах. "За вами прислал машину Сергеев" (председатель гомельского областного комитета физкультуры). Я спрашиваю: "Откуда вы знали, что я приеду сегодня?" "Нам позвонил Васильев (зампредседателя республиканского Комитета по физкультуре и спорту) и просил вас встретить". Я это воспринял как должное, так как обычно, когда я выезжал в инспекционную поездку, меня встречал кто-нибудь из представителей местных организаций, или же заранее сообщали, что мне забронировано место в гостинице. Мы поднялись на привокзальную площадь. Было декабрьское морозное утро, слегка поросил снег. На привокзальной площади стояло несколько дежурных такси, в стороне стояла машина. Когда мы подошли к ней, я обратил внимание на то, что мой попутчик открывает мне заднюю дверцу. За рулем сидел шофер в полувоенной одежде. Мысли мои лихорадочно работали. Что можно сделать, какие предпринять шаги? Но у меня были лишь подозрения, и я еще не был уверен, что меня арестовывают. Успокаивало и то, что при мне ничего компрометирующего не было, а из дома я все, что могло бы послужить материалом для обвинения, убрал. Не успел я сесть в машину, как вдруг будто из-под земли с двух сторон машины появились двое верзил и уселись рядом со мной, плотно зажав меня. Встречавший меня, как вскоре оказалось, полковник КГБ уселся рядом с шофером, захлопнул дверь и скомандовал: "Поехали!" Машина тронулась. Я спрашиваю: "Куда мы поедем, в какую гостиницу?" Здесь они все четверо сработали синхронно.

Шофер нажал на тормоз, полковник приподнялся, схватил меня за голову и с силой сжал мне с двух сторон виски так, что у меня круги пошли перед глазами. Сидевшие рядом со мной молодцы схватили меня за руки и начали лихорадочно обыскивать. Затем этот полковник сунул мне в нос какое-то удостоверение со словами: "Я полковник госбезопасности, мне велено доставить вас в Минск. У всех у нас есть оружие, и при малейшей попытке к бегству будем стрелять немедленно". Я обратил внимание, что обыскивающий меня

тщательно прощупывает воротник рубашки. Позже я узнал, что они искали ампулу с ядом. Все это произошло в считанные секунды — их методы были прекрасно отработаны. Затем полковник заговорил со мной спокойным и даже доброжелательным тоном, чтобы, видимо, успокоить меня и не лишать надежды: "Это, может быть, недоразумение. Знаете, всяко бывает и у нас. Там в Минске выяснят, что им нужно, и пойдете домой. Пусть вас не смущает, что мы не совсем деликатным образом возвращаем вас в Минск, но у нас имеются свои инструкции и законы, и мы обязаны действовать строго по предписанию". Он даже предложил мне завтрак — бутерброды, которые они специально захватили для меня. Но мне, конечно, было не до завтрака. По дороге они вели разговоры о рыбалке, об охоте, о кино. Я, в свою очередь, старался составить план, как вести себя на допросе. Что они знают и чего не знают? Как они истолкуют те факты, которые им могут быть уже известны? Приехали в Минск. При въезде в город они мне велели откинуться назад и надвинуть ушанку — чтобы меня не мог кто-нибудь увидеть и узнать. Заехали во двор КГБ через боковой проезд, и там у подъезда меня ожидало несколько кагебешников, среди них следователь майор Кудров. Меня отвели в его кабинет и усадили за стол, стоявший в углу. Стол и стулья были прикреплены к полу, на столе стояла легкая пластмассовая пепельница. Все это было предусмотрено на случай, если попадетс буйный арестант. Окна были закрыты решеткой. Мне принесли на подносе обед из трех блюд. На сей раз я не отказался, так как изрядно проголодался.

Сразу же после обеда все четверо, находившиеся в кабинете, начали допрос. Первое, что они мне предложили — назвать всех своих друзей и знакомых. Я назвал им кое-кого, с кем у меня никаких "еврейских" дел не было. В основном, это были неевреи — сослуживцы, друзья по спорту и просто знакомые. Они мне: "Это мы знаем. А вот таких-то вы знаете?" И начали читать длинный список еврейских фамилий. Среди них были и те, с которыми у меня были деловые отношения, и весьма далекие от еврейства. Я видел, что они слишком много знают. Я понял, что телефон мой прослушивался — они назвали мне почти всех,

кто звонил мне в последние дни. С некоторыми из них я не виделся больше года. Я ответил, что знаю их, но, естественно, не могу запомнить фамилии всех моих знакомых. Я коренной минчанин, всю жизнь жил в Минске и, разумеется, у меня масса знакомых, начиная с тех, с кем я знаком со школьной скамьи и кончая сотрудниками института, где я сейчас работаю. О многих спрашивали, в каких мы отношениях и что нас связывало. Я отвечал, что некоторые — просто знакомые с такого-то времени или в таком-то месте, с некоторыми я вместе занимался спортом, с некоторыми меня связывали общие интересы к книгам. Затем они спросили, где моя литература. Я ответил: "Дома, на полках". "Нет, — сказали они, — вы знаете, какую литературу мы имеем в виду". Я им снова ответил, что все, что у меня есть, открыто и находится дома. Весь день разговор вертелся вокруг знакомых и литературы. К вечеру мне заявили: "Ладно, идите сейчас спать и подумайте хорошенько о том, где вы находитесь и с кем имеете дело, а завтра поговорим еще. Если вы хотите отсюда когда-нибудь выбраться, то перестаньте хитрить, отбросьте все свои штучки и начинайте рассказывать честно и прямо, по-русски". А другой добавил: "А мы-то думали, что вы мужественный человек, честно расскажете все, не боясь ничего. Вы, оказывается, просто трус. А еще бывший боксер!" "Если вы называете мужеством клеветать на своих друзей и знакомых, чтобы помочь вам состряпать дело, то я не отношусь к этой категории мужественных людей". Они мне: "Вы еще заговорите, никуда не денетесь".

Круглая тюрьма

Двое охранников вывели меня в коридор и повели вниз по лестнице. Лестничный пролет и все окна забраны решетками и сеткой. Провели меня через двор в тюрьму, которая находилась в центре двора. Тюрьма эта была круглой и почему-то называлась американской.

Сразу после войны, когда Минск был на 90 процентов разрушен, а центр города был превращен в сплошные

развалины, первое здание, которое начали восстанавливать в Минске, было здание КГБ. Во главе его тогда стоял грузин по фамилии Цанава. Здание было четырехэтажное, в форме буквы П. Тюрьма возвышалась над землей на два этажа, и еще два этажа были под землей. Так что с улицы здание тюрьмы не было видно, и не было слышно, что там происходит. Но люди уже знали, что это самое страшное место в городе. Меня отвели на первый этаж в административную комнату, где производили регистрацию и обыск.

В машине у меня искали лишь оружие и ампулу с ядом, но документы и записную книжку не тронули. Теперь я вспомнил о записной книжке, в которой были зашифрованные имена и номера телефонов. О некоторых кагебешники ни в коем случае не должны были знать. Кроме того, там были фамилии людей, не имевших никакого отношения к моему делу. Вызов в КГБ и разговор с чекистами вызвал бы у них шок. Репутация чекистов не изменилась со сталинских времен, и отношение к ним было вполне однозначным. Я сделал гримасу и сказал дежурному старшине, что с утра еще не был в туалете и мне срочно необходимо. Это было до начала тюремного обыска. Он подвел меня к двери с глазком и впустил. Соответствующим образом разместившись, я стал незаметно вытаскивать из кармана записную книжку. Различными манипуляциями я старался замаскировать свои движения, так как время от времени к глазку подходил надзиратель. Вытащив записную книжку, я стал незаметно вырывать из нее нужные, вернее "ненужные" страницы, и вскоре она стала у меня вдвое тоньше. Затем я ее вложил обратно в карман. Страницы я рвал, опускал в унитаз и несколько раз спускал воду. После проделанной работы я вышел из туалета, чувствуя большое облегчение. А когда позже еще раз попросился, уже действительно по надобности, старшина мне отказал, сказав, что так часто не положено.

Обыск был более чем тщательный. Раздели догала, прощупали все швы, оторвали каблуки от туфель. Затем, отобрав все документы и записную книжку, все "режущие и колющие инструменты" (перочинный ножик, ножницы, иголку), "пишущие принадлежности" (ручку, карандаш), сняв с меня галстук, брючный ремень и вытащив шнурки из

туфель, чтобы, не дай Бог, не повесился, меня отвели в камеру. Так как тюрьма была круглой, то камеры, находившиеся вдоль внешней стены, сужались к двери. Кроме того, углы камеры были почему-то срезаны. Таким образом камера имела форму гроба. В одном углу к стене была приделана доска, которая служила столом. Рядом с ней стояла маленькая тумбочка, прикрепленная к полу. Сбоку к стене была прикреплена железная рама с металлическими полосами посередине, служившая койкой. В шесть часов утра эта койка опускалась и через пробой запиралась на огромный замок, а в 11 часов вечера ее снова подымали. Тюрьма эта была только следственная. Сразу после суда заключенных отправляли в лагеря, или в другую тюрьму, или же в иной мир. Поэтому больших камер там не было, а держали по одному, по двое, а если не было места, на пол клали и третьего. У двери стояла параша, которая также была прикреплена к стене толстой цепью с замком. Каждое утро надзиратель отпирал его, чтобы парашу можно было вынести. Маленькое окошечко было застеклено специальным матовым стеклом, внутри которого была металлическая сетка. У форточки был намордник — прямоугольный ящик, загнутый кверху, через который можно было увидеть лишь маленький квадратик неба. Стены покрашены в грязно-серый цвет. Запах в камере стоял затхлый и сырой. Пол — цементный и всегда сырой. В двери — глазок, через который надзиратель периодически заглядывал в камеру, чтобы знать, чем занимается арестант. Под глазком — кормушка и маленькая форточка, через которую подавали пищу. Над дверью в нише — огромная электрическая лампа, которая горела круглые сутки. Спать надо было лицом к двери, чтобы лицо было все время освещено — закрывать лицо от этого яркого света запрещалось. Первое время я совершенно не мог уснуть — свет лампы бил прямо в глаза, как прожектор. Но в дальнейшем благодаря недосыпанию и общей нервной усталости я спал невзирая ни на что. Два раза в день, утром и вечером, водили в туалет, и заодно нужно было опорожнять парашу. Раз в день на полчаса выводили на прогулку. На прогулку выводили в специальные дворики, которые были чуть больше камеры, только без крыши. Туда впускали, запирали двери, и гуляй себе свои полчаса. Сверху

над двориком была специальная площадка, на которой стояли часовые и наблюдали, чтобы арестанты из разных камер не переговаривались и ничего не перебрасывали друг другу. Все дни были похожи друг на друга: подъем, туалет, стандартный завтрак, который обязательно включая селедку, допросы с перерывом на обед, а иногда и без перерыва, особенно в первый период следствия. По ночам не допрашивали.

Однажды рано утром, не успев я даже запить селедку кипятком, как меня вызвали на допрос. Несмотря на то, что надзиратели и конвоиры после многих месяцев тюрьмы знали заключенного хорошо, все равно при вызове на допрос они всегда соблюдали определенную форму — отворялась кормушка, и надзиратель вызывал: "Рубин!", я же должен был называть остальное: имя, отчество, год рождения, а после суда еще статью и срок. Он, в свою очередь, все это сверял по моей папке, в которой были все эти данные, затем, сличив мои фотографии в фас и профиль с оригиналом, открывал дверь. Меня опять прошупывали в соответствии с инструкцией. Следовала команда: "Руки за спину, не оглядываться, не разговаривать, итти медленно", и я отправлялся в сопровождении двух охранников в корпус КГБ к следователю. Если в это время вели навстречу другого заключенного, они сразу же поворачивали меня лицом к стене и держали за плечи до тех пор, пока он не исчезал из поля зрения. Вводя меня в кабинет, они козыряли офицерам и удалялись.

Беззаконная законность

На сей раз разговор был короткий. Они снова спросили, где литература, и на мой ответ, что все находится дома, ответили: "Дама-то дома, но у кого дома?" Я повторяю: "У меня дома". Тогда они мне говорят: "Мы ведь все равно все знаем. Только хотели проверить, насколько вы честны и правдивы. А сейчас поехали. Если вы раньше не хотели показать нам, где находится литература, то сейчас мы покажем вам". Мне принесли из камеры пальто, вывели во

двор и усадили в машину. Со мной в машину сели еще три человека, не считая шофера. Еще трое сели в другую машину. Я и сейчас не понимаю, как они узнали адрес. То ли им рассказал мой поделщик, то ли они подслушали мой разговор с ним дома через подслушивающий аппарат, который был установлен у меня и о котором я расскажу ниже. Мы подъехали прямо к дому моего знакомого, он еще не вернулся с работы. Войдя в квартиру, они объяснили хозяйке, зачем они приехали, и потребовали, чтобы никто из дома не выходил и чтобы все находилось в соседней комнате. Один из кагешников остался снаружи, другой — у двери внутри. Остальные раскрыли чемодан, который я принес к ним на хранение, и начали исследовать его содержимое. Затем они начали писать протокол обыска, перечисляя все найденное в чемоданчике: книжки, брошюры, календари с фестиваля, книжку об антисемитизме, изданную в Израиле, газеты и журналы на идиш и иврите из Франции, которые привез мне один из моих поделщиков, фотографии с израильтянами на фестивале, статьи по еврейскому вопросу, которые я вырезал и переписывал из книг и журналов. Стопка вырезок из советских газет, так или иначе связанных с Израилем или вообще с евреями, которые, кстати, впоследствии были включены в обвинение как тенденциозная подборка материала. На всем этом я должен был написать "принадлежит мне" и расписаться. Все мы сидели за одним большим столом в столовой. Среди бумаг и книжек я заметил клочок бумаги с номером телефона сотрудника израильского посольства, правда, зашифрованным, и одним адресом, который ни в коем случае не должен был попасть к ним в руки. Тогда я еще не знал, что потом обвинение будет значительно серьезнее, и полагал, что все ограничится этой литературой.

Я решил уничтожить во что бы то ни стало этот адрес и номер телефона. Я сказал, что хочу пить. Мне принесли кружку воды. Я выпил половину и оставил немного воды во рту. В таких случаях реакция и сообразительность обостряются. Я взглянул на шкаф, как будто что-то заметил. Все повернули голову к шкафу. Достаточно было этого мгновения, чтобы бумажка оказалась у меня во рту. Они набросились на меня, еще не понимая, что произошло. Я же свернулся калачиком

на полу, и пока они возились со мной, эта бумажка вместе с водой была проглочена. Они начали орать: "Ты что сделал! Ты что сделал! Мы у тебя вместе с кишками все вынем!" Скрутили руки назад, надели наручники и увели в машину. На допрос меня в тот день больше не водили, а повели прямо в карцер. В карцере меня держали восемь суток и оттуда возили ежедневно на допросы. С каждым днем я все больше убеждался, что у них имеется полная информация обо мне. Знают всю мою биографию, большинство знакомых и родных. Назвали мне точно, где и с кем я встречался и даже о чем говорили. Больше всего меня удивило, что они знают в подробностях, о чем я разговаривал дома. Они мне назвали точно день, полгода тому назад, когда у меня был такой-то человек, описали его внешность, одежду, процитировали дословно наш разговор. Уже после суда на свидании родные мне рассказали, что на чердаке над моей комнатой был установлен подслушивающий аппарат. Узнали они случайно, когда недели через две после моего ареста к нам пришел техник ремонтировать телефон. Он спросил: "А что это у вас еще какой-то провод тянется на чердак?" Родственники поднялись на чердак и там обнаружили над моей комнатой два аппарата, в разных углах, слегка присыпанные шлаком. Они, разумеется, побоялись тогда их трогать, но спустя некоторое время эта аппаратура так же незаметно исчезла, как и появилась. Позже из наблюдений и рассказов некоторых соседей выяснилось, что аппарат был установлен более года тому назад, и провод тянулся к соседке, которая жила на нашей площадке.

Эта соседка во время немецкой оккупации активно сотрудничала с немцами. У нее даже в войну родился сын от немца. После войны она стала сотрудничать с КГБ. Так вот к этой-то соседке поселили "квартиранта" из КГБ. Из ее окна было очень хорошо видно, как ко мне приходили. Тогда он включал микрофон, и все разговоры записывались. Потом, очевидно, ленту прокручивали, и все, что представляло для них интерес, печатали на машинке и подшивали в папку. Таких папок за год с лишним собралась уйма. Когда я оспаривал какое-либо обвинение, следователь открывал железный шкаф, вынимал ту или иную папку и зачитывал все мои высказывания и разговоры. Но я уже до ареста знал,

что по закону основанием для обвинения на суде может служить лишь признание самого обвиняемого или показания свидетелей, или же вещественные доказательства, а все агентурные данные, явившиеся результатом подслушивания, фотографирования и т. п., не являются материалом для суда. Я наивно полагал, что теперь уже придерживаются законности. Но на суде я убедился в обратном, так как почти все самые серьезные обвинения против меня были построены на агентурных данных. Я все отрицал, свидетели все отрицали или просто не знали, вещественных доказательств тоже не было. Тем не менее обвинения были включены в приговор.

В последующие дни я почувствовал, что вся "крамольная" литература, которую они изъяли, не была главным в их обвинениях, и я всячески старался найти главный пункт, но на все мои вопросы они отвечали: "Пока мы еще тебя допрашиваем, а не ты нас". Я соглашался: "Пока да". Дня через два после того, как они изъяли у меня записную книжку, меня вдруг срочно вызвали во время обеда на допрос, и там набросились на меня — где вырванные страницы из записной книжки и что там было написано? Я им ответил, что использовал их по надобности, что странички были пустыми. Меня убеждали, что они все достали, что в лаборатории все записи восстановлены, но они хотят проверить мою честность. Я продолжал настаивать на прежнем ответе, и после двух дней бесполезного нажима они перестали приставать ко мне с вопросами о записной книжке. Правда, старшину этого я уже больше не встречал в тюрьме. Ему, возможно, пришлось поплатиться за допущенный промах.

В это же время они вызывали массу свидетелей. Всего было допрошено, как я позже подсчитал, около 80 свидетелей, в том числе те, с кем я совершенно не был связан по своей сионистской работе. В те времена не били и не сажали только за то, что знаком с арестованным, но методы шантажа и запугивания остались прежними. Все еще была свежа память о сталинских временах. Один лишь вызов в КГБ на допрос вызывал у людей дрожь, и они проводили бессонную ночь, размышляя, что это может быть и как себя нужно там вести. После моего ареста многие знакомые и даже некоторые бывшие друзья переходили на другую

сторону при встрече с кем-нибудь из моих родственников, так как считали, что одно лишь знакомство с политзаключенным может в лучшем случае стоить им карьеры. Большинство свидетелей, переступая порог КГБ, не знало, вернутся ли они домой. Однажды следователь мне сказал: "Не понимаю, почему люди так боятся, чего они так дрожат? Ведь их не бьют, не пытаются, а просто спрашивают. Иногда только начинаешь писать протокол допроса, задаешь первый вопрос, а он уже просится в туалет".

Что общего у православных с жидами

У КГБ имеется огромный опыт ведения следствия, у них есть даже научно-исследовательские институты по изучению психологии заключенного.

В полосу так называемых экономических процессов был арестован старый еврей. Он потерял всю семью в гетто, от второй жены у него была девочка лет шести. Он дрожал над ней и весь остаток жизни посвятил тому, чтобы вырастить свою дочь. Кагэбисты не преминули воспользоваться этим. Следователь ему говорил: "Вы хотите поговорить со своей дочкой? Я могу набрать ваш домашний номер, и говорите". Он звонил, давал ему трубку, и как только девочка отвечала, следователь сейчас же нажимал на рычаг. А однажды, когда его вели на допрос, он увидел издали в коридоре свою дочь на руках у кагэбиста. Когда он вошел в кабинет, ему говорят: "Вы хотите встретиться со своей дочкой? Ведь она очень скучает без своего папы и все время спрашивает: "Где мой папа, когда мой папа придет?" Все зависит только от вас, одно ваше слово, и она будет у вас на руках". Отец не выдержал нажима на самое чувствительное место и "раскололся".

А вот пример из моего следствия. Примерно через неделю после ареста меня вдруг повели не в кабинет следователя, а в другое крыло здания. Меня ввели в огромный кабинет, где все было огромных размеров. В одном конце кабинета стоял огромный письменный стол, на стене висели портреты Маркса и Ленина, в углу стоял бюст Дзержинского, на полу

была широкая ковровая дорожка алого цвета. По сторонам стояли диваны и кресла, на которых сидели восемь чекистов. Как только я переступил порог, они на меня набросились как цепные псы. "Вот он идет, этот выродок!" Они сыпали отборным матом, грозили всем, чем угодно, замахивались кулаками, оскорбляли меня всячески — будто соревновались друг с другом в издевательствах надо мной. С другой стороны было несколько стальных шкафов. Вдруг одна из узких дверей шкафа открылась, и оттуда бочком вылез рослый полный чекист в генеральской форме. Позже я узнал, что это был зампреда КГБ Белоруссии. Когда он вскоре ушел тем же путем, то я понял, что это была замаскированная дверь в другую комнату. Генерал подошел к одному из чекистов, что-то написал ему на бумажке, презрительно взглянул на меня и удалился в тот же "шкаф". Брань и угрозы, сам кабинет и его обстановка, неожиданное появление генерала, да еще как будто из шкафа, — все это было рассчитано на психологический эффект — подавить мою психику, запугать и внушить мне, что я бессилён перед этой махиной.

Действительно, я был ошарашен. Вдруг открывается дверь, и уверенным хозяйским шагом входит некто в гражданском. Позже я узнал, что это был начальник оперативного отдела. Он огляделся и заорал на них: "Замолчать! Что за крик! Что за крик! Как вы разговариваете с подследственным! Вы забыли, что это не время бериевщины! Немедленно все удалитесь отсюда!" Все затихли, смущенно встали и почти на цыпочках вышли из кабинета. Он же уселся недалеко от меня на диване, как-то спокойно, по-домашнему, закурил и, конечно, предложил мне сигарету. Бросил еще несколько резких фраз по их адресу, а потом доверительно и ласково, как хороший друг, сказал: "Толя, пойми меня, я тоже был сиротой. Вырос в детском доме. Я очень хорошо изучил твою биографию и понимаю тебя лучше, чем кто-либо другой. Я все время был против твоего ареста. Говорил, что не может человек, переживший столько, пойти на такое преступление. И только приезд Никиты Сергеевича заставил нас пригласить тебя сюда таким нежелательным образом. Мы хотим просто выяснить, что случилось. Откуда такие разговоры о тебе". Несколько раз

он извинялся за то, что говорил со мной на "ты". Мы, мол, просто хотим выяснить обстановку. Иди себе спокойно домой, иди на работу. Ведь на работе о тебе так хорошо отзываются. Такую прекрасную характеристику тебе написали", и так далее и тому подобное. Это тоже был один из их методов — так называемая работа на контрастах. Когда грубая атака доходит до предела, они неожиданно переходят в другую крайность.

Разумеется, я не испытывал удовольствия от их хамства, но проявление таких "дружеских" чувств мне было еще более неприятно. Уже имея некоторый опыт, я стал действовать испытанным методом. Цинично улыбаясь, я говорю: "Гражданин следователь", — он тут же меня перебивает и поправляет: "Я не следователь, а начальник оперативного отдела КГБ Белоруссии". — Я повторяю свое обращение, но уже в исправленной форме, и продолжаю: "Не нужно со мной разговаривать "по-человечески, по-дружески", говорите со мной, как настоящий чекист". "Ну, что ты, Толя. У тебя просто сложилось неправильное представление о сотрудниках КГБ. Ведь везде есть разные люди. Не суди о нас по тем, кто проявляет свою невыдержанность. Твое представление о КГБ — с прежних времен. Все то, что здесь произошло сейчас — это и есть остатки прежних методов. Мы сейчас стараемся всячески изжить их у нас и беспощадно боремся против любого нарушения закона". Я перешел на еще более резкий тон, играя циника и грубияна, стараясь разозлить его. Я говорю: "Перестаньте играть. Вам все равно не скрыть за этой лисьей маской свою волчью сущность. Меня все это лишь смешит". Его терпение лопнуло, и он, сразу же побагровев, вскочил и заорал: "У меня не такие заговаривали, и ты заговоришь! Ничего, мы тебе хребет переломаем! Если не понимаешь человеческого языка, тогда поговорим на понятном тебе языке!" Он нажал на кнопку, вошли охранники и увели меня в камеру. После такого сильного нервного напряжения я вернулся в камеру страшно уставшим, каким-то обмякшим. По его фразе "приезд Никиты Сергеевича заставил нас взять вас" я понял, в каком направлении они ведут сейчас следствие.

Сразу же после ареста мне официально было предъявлено обвинение в измене родине, попытке покушения на одного из

руководящих деятелей партии и правительства (фамилию они никогда не указывают), антисоветской пропаганде и агитации, которая включала в себя распространение сионистской литературы, связь с израильским посольством, разжигание националистических настроений. Все усилия я сосредоточил на том, чтобы они сняли обвинение в покушении, так как понимал, что это пахнет вышкой. Они все время допытывались, где оружие, где мины. Я категорически отрицал все эти обвинения, а они утверждали, что все уже найдено и находится у них в руках. Уже после суда, в лагере, когда ко мне на свидание приехали родственники, я узнал, что были проведены тщательные обыски. В тот момент, когда меня арестовали в Гомеле, ко мне домой приехала целая бригада чекистов. Обыск проводили с миноискателями почти целый день. Все полы в доме были подняты, печи разобраны по кирпичикам. Если в стене им что-то казалось подозрительным, они тут же молотком отбивали штукатурку. Весь двор был исколот специальным железным щупом. Они влезли в погреб, который находился в сарае, и прощупали миноискателем стены и потолок. Перекрытие в погребе было из железобетонных плит. И когда они приставили к ним миноискатель, появился сигнал о наличии металла. Тогда они с яростью начали долбить перекрытие. Кто-то из домашних, присутствовавший при этом, сказал, что перекрытие ведь из железобетона, и внутри него имеется железная арматура. Действительно, куда они ни прикладывали миноискатель, всюду был тот же сигнал. Лишь после этого они перестали долбить и вылезли из погреба. Но через несколько дней, когда уже наполовину восстановили и отремонтировали квартиру после этого разгрома, они приехали снова. Очевидно, им было приказано во что бы то ни стало найти оружие или мины, и они снова начали все разрушать, прокалывать, прослушивать, но безрезультатно. В деревне, где я жил во время войны и куда продолжал приезжать иногда в гости, они тоже сделали обыск. У хозяина, у которого я когда-то жил и с которым продолжал поддерживать дружеские отношения, они перебрали все навозные кучи, прощупали все соломенные крыши и прокололи щупом весь двор в поисках оружия, но и там ничего не нашли. Хозяин был до смерти напуган этим обыском. Дело

в том, что накануне хозяин украл в колхозе мешок зерна, и думал, что они ищут зерно. После обыска ему сказали, что именно они ищут. Они потребовали, чтобы он им пересказал все, что я ему говорил, спрашивали, привозил ли я оружие, с кем я приезжал. Чекисты знали от соседей, что он украл мешок зерна, и пытались его шантажировать, что, мол, если он не расскажет всю правду обо мне, то они передадут его ОБХСС. В конце концов они убедились, что он действительно ничего не знает, и тогда руководитель оперативной группы майор Аркадьев сказал ему: "Что у вас общего с этим жидом, зачем вы с ним дружите? Ведь в конце концов вы — православные люди". Обо всем этом рассказал мне хозяин после моего освобождения.

С деревней был связан еще один курьезный случай. В год ареста, летом, когда я был там, один из соседей позвал меня на гумно, где мужики молотили рожь. Один из них попросил меня почитать им листовку, которую он нашел в поле. Это была листовка НТС. Я им прочел и посоветовал, чтобы они были с ней осторожны. Когда допрашивали крестьян, то кто-то из них рассказал историю с этой листовкой. Через некоторое время после моего ареста человека, который нашел листовку, вызвали для допроса в Минск. Когда он получил повестку в КГБ, то он, еще не зная, в чем дело, решил, что КГБ стало известно о случаях, когда он воровал колхозное имущество. К тому же он еще не вступил в колхоз. Он был уверен, что его арестуют. Попрощавшись с родными, он взял с собой сала, хлеба и махорки в запас и с полной торбой поехал в Минск. Как только он вошел в кабинет следователя, то сразу же начал плакать — теперь он уже решил вступить в колхоз, он будет хорошо работать и аккуратно платить налоги. Когда же ему следователь объяснил, что его не для этого вызвали, а что их интересует история с листовкой, то он расплакался уже от радости и рассказал следователю, что он распрощался с женой и детьми и был уверен, что его пошлют в Сибирь. Затем он услужливо стал рассказывать, что было и чего не было. В результате он заврался так, что его просто выгнали из кабинета. Потом мне эту историю рассказал сам следователь, когда пытался убедить меня в том, что им нужна правда, а не клевета.

Как правило, ко всем процессам, проводимым КГБ, стараются подготовить общественное мнение. Когда процесс открытый, то мобилизуют печать, радио, телевидение, и как по команде появляются соответствующие статьи, радиопередачи и карикатуры. Народ уже знает, что судят предателей, убийц, валютчиков. Когда же процесс закрытый, то готовят общественное мнение и по разным каналам распускают самые нелепые слухи. Слухи эти быстро подхватываются и распространяются. Уже в лагере родные мне рассказывали на свидании, что после моего ареста по городу ходили самые невероятные слухи: что я собирался взорвать только что выстроенную гостиницу "Минск" в центре города, что меня поймали с передатчиком, когда я передавал какие-то сведения на Запад, что у меня нашли полмиллиона валюты. Об одном из моих поделщиков, который был участковым врачом, пустили слух, что он заражал своих пациентов раком. И некоторые из его бывших пациентов прибегали в поликлинику с истерикой, что их заразил раком этот врач-убийца. Антисемиты, естественно, выжимали из этого все, что можно было. Находились и такие евреи, которые нас обвиняли — вот, мол, сволочи, зачем им это нужно было, из-за них и нам жизни нет. В деревне же власть учитывала психологию мужика, тем более, что это было в Западной Белоруссии, на территории бывшей Польши, где население было враждебно настроено к советскому строю. В его глазах я не был бы скомпрометирован тем, что передавал какие-то сведения на Запад или же хотел взорвать гостиницу. Поэтому там они пустили другой слух — будто бы я вместе с моим бывшим хозяином Иваном печатал фальшивые деньги. А то, что у них был обыск, так это они искали машину, на которой мы печатали купюры. Хозяин мой жил неплохо. Недавно он построил новый дом, и в деревне ему завидовали. Так что слухи эти попали на благодатную почву, и все поверили. Лишь в 1962 году, когда в лагерь, в котором я находился, попало несколько крестьян из той же деревни за "контрреволюционный саботаж" (у них сгорел свинарник и около 100 свиней), то они убедились, что здесь сидят только политзаключенные — фальшивомонетчик не мог бы сидеть в этой зоне. Они об этом написали в деревню, передали на свиданиях, навет отпал, и отношение к Ивану резко изменилось к лучшему.

Во время обыска у меня была изъята вся литература, имеющая отношение к еврейскому вопросу, все фотографии, письма. Среди изъятых книг был один том юбилейного издания воспоминаний о Марксе и Энгельсе. В этой книге была исповедь Маркса своей дочери Лауре. Исповедь была написана в форме полушутливой анкеты. В числе других были вопросы: Кого он больше всех ненавидит? — Бонапарта. Любимый цвет? — Красный. Любимое блюдо? — Рыба. Как-то, читая эту анкету, я на клочке бумаги дал свои ответы на ее вопросы. На вопрос о ненависти я ответил — Хрущева. На вопрос о цвете — голубой, а на вопрос о любимом блюде — сало с капустой. Во время обыска все это, конечно, было изъято. На очередном допросе, когда в кабинете следователя было полно начальства, он вытащил эту книгу, в которой лежала бумага с моими ответами. Относительно Хрущева я сказал, что я симпатии к нему не питал и не питаю, я уже не раз им об этом говорил. На вопрос, почему я люблю именно голубой цвет, не потому ли, что это цвет израильского флага, — я ответил, что это дело вкуса. Прочитав о любимом блюде, начальник следственного отдела Седов встал и продекламировал: "А сало русское ты любишь!" — Я ему ответил: "Почему русское, свиное". При допросах почти всегда кроме следователя присутствовал или начальник следственного отдела Седов, или его заместитель Панин, или оба вместе. Кроме того, постоянно заходило еще какое-нибудь начальство, в том числе и председатель КГБ Белоруссии Перепелицын. Впоследствии, при Семичастном, он стал зампреда КГБ СССР.

Попытка антиизраильской провокации

Недели через две после моего ареста приехали чекисты из Москвы. Один из них сразу же проявил себя как специалист по еврейскому вопросу. Высокий, элегантный, с красивыми манерами, хорошо образованный, что не так часто встретишь среди работников КГБ, особенно среди следователей. Об эрудиции моего следователя расскажу ниже. Этот специалист прекрасно знал историю еврейского народа и особенно

историю советского еврейства. Знал всех крупных деятелей еврейской культуры в Советском Союзе, знал многих работников израильского посольства, знал, кто из них чем занимается. Иногда он пересыпал свою речь еврейскими словечками и оборотами. Чувствовалось, что он проработал в этой области не мало лет. Блеснув своими познаниями о жизни на еврейской улице и выказав "дружеское" расположение ко мне, он сказал, что специально прилетел из Москвы лишь для того, чтобы помочь мне выпутаться из этого дела. После этого он перешел к конкретному предложению. "Я хочу дать вам возможность доказать, что вы все же остались советским человеком, несмотря на то, что вы запутались или же вас запутали в сионистские дела. Но для этого, разумеется, мы должны вам верить. А поверить мы сможем лишь тогда, когда вы будете правдивы и искренни". Я его спрашиваю: "Что вы имеете в виду, о какой возможности вы говорите?" Он мне отвечает: "Нам хорошо известно, так же как и вам, что вы контактировали с работниками израильского посольства. И вы можете помочь нам разоблачить их — ведь они под личиной секретарей посольства, имея дипломатический иммунитет, занимаются подрывной деятельностью. А какой именно деятельностью, вам хорошо известно. Я еще раз повторяю, что для этого мы должны вам полностью верить. Вас надо освободить, и вы полетите с нами в Москву".

Я мог в то время ожидать от них всего, но только не такого. Я был прямо-таки ошеломлен их наглостью. Немного придя в себя, глядя ему в глаза, голосом, полным ненависти и брезгливости, я медленно и четко ответил: "По-моему, я не давал вам ни малейшего повода делать мне такие гнусные предложения". Дружеский тон его сразу исчез, и он перешел на грубую брань, полную угроз. Затем, немного успокоившись, он снова сделался миролюбивым и, мерно расхаживая по комнате, говорил почти нараспев: "Подумай, Анатолий, пока мосты еще не сожжены". Я ему сказал, что если он специально прилетел, чтобы сделать мне эти предложения, то его командировка себя не оправдала. — "Вы ошиблись адресом". На этом наш разговор закончился. Очевидно, тогда они сделали соответствующий вывод, так как в дальнейшем ни в тюрьме, ни на протяже-

нии всех шести лет лагеря мне ни разу никто не предлагал сотрудничества. А известно, что в лагере каждый начальник старается иметь своих стукачей — и начальник режима, и начальник оперативного отдела, и, конечно, отдел КГБ. Каждый начальник отряда тоже имел своих доносчиков. После окончания следствия КГБ пишет характеристику на заключенного, в которой отмечается степень его готовности доносить. Эта характеристика подшивается в дело, которое следует за заключенным до его освобождения, а затем уже изрядно распухшая папка хранится в архивах КГБ с пометкой "хранить вечно". Как я уже говорил, работники следственного отдела не отличались ни интеллектом, ни эрудицией. Их невежество доходило до анекдотического. Мой непосредственный следователь майор Кудров в паузах между вопросами рассказывал, что в прошлом он — офицер советской армии, а сейчас работает следователем и учится заочно в университете на юридическом факультете. Он исследовал мои записные книжки. В них, кроме фамилий знакомых, были названия книг с фамилиями авторов. Увидев фамилию Ожешко, он спрашивает: "Кто такой Ожешко?" Я ему говорю, что это не он, а она. "Какие у вас с ней были отношения?" Я говорю: "Книжные". "А, — заинтересовался он, — а какие же книги вы ей давали?" Встретился ему Уриэль Акоста. — "А это кто? Тоже израильский агент? Говорите прямо". Или: "А кто такой Кант?" — "Немецкий философ". Подумав, он спрашивает: "А где он проживает — в Западной Германии или в ГДР?"

Почти одновременно со мной были арестованы еще два человека. Один из них — спортсмен, простой малограмотный еврей, по профессии плотник, был неоднократным чемпионом республики по борьбе. Мы с ним были хорошо знакомы, но никаких дел у нас не было. Но однажды он, как я уже писал, поехал в Польшу на спортивные соревнования и привез литературу по еврейскому вопросу. Некоторым минским евреям, которые до войны были польскими подданными, удалось уехать в Польшу, а оттуда уже в Израиль. В Польше они его встретили и передали книги, брошюры, газеты из Израиля и Франции на русском, идиш и иврите. На следствии чисто случайно наши показания совпали. Я говорил, что ему просто передали для меня посылочку, и он даже

в нее не заглядывал, а привез и передал мне. Он говорил то же самое, хотя мы с ним не договаривались об этом. Это ему на суде очень помогло. Второй мой поделщик был врач, на два года старше меня. Он был сыном старого коммуниста с подпольным стажем. Мы с ним были дружны, и он многое знал о моих делах. Но далеко не все. И это в дальнейшем спасло меня от многих тяжких обвинений. Одно время он проявлял большой интерес к еврейскому вопросу. Хотя сионистом его назвать нельзя было, но он был на пути к сионизму. Он много читал, слушал свободное радио, и мы постоянно обменивались информацией. Я давал ему литературу, и он распространял ее среди своих знакомых. Но когда его арестовали, он сразу раскис и раскололся. На следствии он рассказал все, что только знал и помнил. Кроме того, он написал покаянное письмо в ЦК КПБ. Когда на следствии он узнал о других делах, о которых прежде не слышал, то он еще больше испугался, всячески старался отмежеваться от меня и всю вину валил на меня. Я, в свою очередь, все обвинения, которые были доказаны, брал на себя, говорил, что это я его уговаривал делать то или иное, я ему давал литературу, что вся вина за его действия лежит на мне. Вопрос стоял не лично о нем. Я знал, что на нас смотрят как на представителей евреев, евреев-сионистов. И когда я на следствии узнавал, как он себя вел, как старался своими показаниями угодить следователям, мне становилось стыдно, что он еврей. Он единственный дал показания о том, что я собирался совершить покушение на Хрущева. Он рассказал, что я просил у него цианистый калий, чтобы заложить его в пулю, которая предназначалась для Хрущева, а также ампулы с цианистым калием для себя, которые я собирался защитить в лацканы пиджака; а если бы мне не удалось после совершения покушения выстрелить себе в рот, то я должен был раздавить ампулу зубами.

Кроме агентурных данных, у КГБ были по обвинению лишь показания этого врача. Его трусливое поведение на следствии еще больше ожесточило меня, и я всячески старался показать кагебистам, что не все евреи такие, не все евреи трусы, не все евреи предают своих друзей. И на следствии, и в лагере я постоянно чувствовал, что на меня смотрят не как на человека по фамилии Рубин, а как на

представителя определенной национальности, отношение к которой было, мягко выражаясь, весьма тенденциозным. Постоянно чувствуя это, я всегда находился в напряжении, всегда у меня было повышенное чувство ответственности, которое заставляло меня держаться с достоинством, всегда стараться показать, что евреи не трусы, не предатели и не приспособленцы.

Еще в начале следствия при заполнении анкеты надо было ответить на вопрос о знании языков. Я сказал, что мой родной язык — еврейский, хотя я его не знал. Надо было видеть выражение лица следователя, когда я назвал русский язык для себя иностранным.

Постепенно прояснялось, в чем они хотят меня обвинить, что им известно и как они стараются заполнить пробелы, чтобы дело получилось цельным и логичным. Иногда их фантазия доходила до абсурда, и чувствовалось, что они стараются раздуть дело и обязательно включить в него работников израильского посольства. На одном из допросов начальник следственного отдела говорил: "Зачем вы пытаетесь увилить? Ведь никто вам не поможет, весь ваш план действий находится у нас на столе. Если вы не хотите рассказать, то другие люди, связанные с вами, рассказали. Вы этим вредите лишь себе, а нам и без ваших показаний все ясно". И далее: "Мы хотели лишь проверить, осознали ли вы хоть сейчас, что вы хотели натворить". И он начал излагать мой "план". Будто бы первоначально я получил инструкцию о покушении на израильское посольство, затем из Польши вместе с литературой я получил уже от разведки другого заинтересованного государства — какого, он не сказал — конкретный план действий. И еще через какие-то каналы я получил оружие, через какие именно, он тоже не сказал. Я у него спросил: "А где же находится это оружие?" Мне было ясно, что они ничего не нашли, ибо если бы нашли оружие, то давно бы мне его предъявили. Он мне отвечает: "Об оружии нам так же хорошо известно, как и вам". Однажды следователь, подойдя ко мне почти вплотную, с ехидной улыбкой спрашивает: "Скажите мне, Рубин, а почему вы все-таки остались живы во время войны? Ведь вашего брата немцы поголовно уничтожали. Почему же они сделали для вас исключение?" С трудом сдерживая гнев, я ему ответил:

"К вашему сожалению, всех евреев уничтожить невозможно. Мы пережили многие народы, переживем и вас".

Я чувствовал, что они особо стараются обвинить меня в попытке покушения на Хрущева. Кроме статьи о покушении, на следствии у меня были статьи "измена родине" и "антисоветская пропаганда". Сионистская пропаганда и национализм включались в последнюю статью. И была еще отдельная статья — "групповая". Я понимал всю серьезность обвинения в покушении — Хрущев в то время был в зените своего могущества. Учитывая, с какой настойчивостью КГБ копал в этом направлении, я настроил себя на самое худшее. Именно потому, что я уже настроился на вышку, я был абсолютно спокоен, так как хуже этого уже не будет. Это помогло мне держаться уверенно и с достоинством. Позже, когда я почувствовал, что они не смогут доказать обвинение в покушении, у меня появилась надежда, что я "отделаюсь" максимальным сроком заключения. Обвинение в измене родине тоже не было доказано и отпало в ходе следствия. Во время моего следствия вышел новый уголовный кодекс, и номера моих статей были соответственно изменены. Если в обвинениях в измене родине и покушении на Хрущева следователям приходилось туго, так как они никак не могли свести концы с концами, то для обвинения в антисоветской пропаганде у них материала было больше чем достаточно. И найденная литература, и показания свидетелей — всего этого вполне хватало, чтобы передать дело в суд. Ко всему еще статья была "групповая", которая сама по себе не предусматривает наказания, но значительно утяжеляет основное обвинение. К концу следствия мое дело составляло шесть томов.

Ну и загнул пролетарский писатель

На одном из допросов мне предъявили обвинение в том, что у меня найдена рукопись, которая была проникнута буржуазным национализмом и в которой я злобно клеветал на русский народ. Я спросил у них, что это за рукопись. Они показали мне ее. Это оказалась переписанная мною брошюра

Горького "Об антисемитизме". Я им говорю: "Позвольте, какая же это моя рукопись, ведь это брошюра Максима Горького, которую я просто переписал". Они возмутились: "Как ты смеешь клеветать на великого русского писателя!" Я им указал точно, где я достал эту брошюру, а именно, в Центральной библиотеке им. Ленина, в читальном зале. На дом ее не давали и поэтому пришлось ее переписать. Два дня они не упоминали о ней, а на третий день мне следователь говорит: "А ты знаешь, с брошюрой-то ты был прав. Ее действительно написал Горький, ну и загнул же наш пролетарский писатель. Так клеветать на свой народ. Вероятно, когда он писал ее, то был здорово поддавшим" — и он сделал выразительный жест — щелчок по подбородку. По существующему законодательству, в конце следствия обвиняемый должен ознакомиться со всеми следственными материалами, кроме, разумеется, агентурных. После этого он должен подписать статью 206. В моем деле была перепечатанная целиком брошюрка Горького. Был приложен и мой переписанный экземпляр.

Интересно, что теперь каждый из работников следствия, тюрьмы или суда старался показать, что он лично ничего против меня не имеет, но удовлетворение какой-либо моей просьбы или решение моей судьбы зависит не от него, а от кого-то другого. Например, когда я просил начальника тюрьмы, чтобы мне разрешили читать газеты, то он мне отвечал, что это зависит не от него, что в его функции входит лишь охранять меня, и если следственный отдел разрешит, то, пожалуйста, он готов ежедневно снабжать меня свежими газетами. Следственный отдел на эту же просьбу отвечал, что он занимается лишь ведением следствия, а чем я занимаюсь в камере — это уже дело начальника тюрьмы, и разрешить газеты зависит только от него. Или же следователь мне часто говорил, что их задача — проведение следствия и выяснение сути дела, а решает мою судьбу уже суд. Если бы это зависело от них, они ограничились бы следствием и тем временем, что я находился в тюрьме во время следствия, так как, по его мнению, долгие годы заключения не изменяют человека, а лишь еще больше озлобляют. На суде же, когда я что-нибудь оспаривал, председатель суда говорил: "Видите ли, мы ведь следствия не вели, нам дали

готовые материалы, и мы обязаны на основании их вынести свое решение. Мы-то сами ничего не выдумываем, так что все ваши претензии адресуйте в следственный отдел".

Я уже писал, что на следствие вызывали около 80 свидетелей. Когда я, прежде, чем подписать 206-ю статью, ознакомился с делом, я прочел все допросы свидетелей. Им показывали бумагу с четырьмя фотографиями, одна из которых была моя. Вначале им предлагали определить, кого из четырех они знают, а затем следовали вопросы. Нужно было назвать мою фамилию, имя, когда со мной познакомились и при каких обстоятельствах, наши отношения, о чем разговаривали и мое направление мыслей, и так далее.

Среди моих друзей был человек, занимавший очень высокий пост. На протяжении всех послевоенных лет он был первым заместителем министра Белоруссии. Он продержался при всех чистках и гонениях даже в период расцвета антисемитизма. Мы были с ним действительно очень дружны, я часто бывал у них дома и дружил со всей его семьей. Больше всего я боялся, что его могут втянуть в это дело. Целый месяц они пытались мне внушить, что им уже все равно все известно и что главным виновником является он, что это под его влиянием я встал на преступный путь, и что стоит мне лишь сказать слово, и я пойду домой. Я чувствовал, что они стараются пришить его к моему делу, чтобы оно приобрело еще больший вес. Приходили какие-то аппаратчики ЦК КПБ и буквально упрашивали меня сказать что-нибудь о нем. Просили хотя бы рассказать им так, не для протокола. Меня спрашивали: "Ну почему вы его так защищаете?" А я отвечал им, что мне не от чего его защищать, а если я его от чего-нибудь и защищаю, так разве что от их клеветы. Так им и не удалось втянуть его в мое дело. Позже я узнал, что к нему все же придрались, сняли с высокого поста и перевели на второстепенную работу.

Следствие подходило к концу. Читая в конце следствия все материалы, я понял, как тщательно они следили за мной в течение полутора лет. Я часто ездил по разным городам на спортивные соревнования, и всегда меня опекал их представитель. Все люди, с которыми я случайно знакомился в вагоне, в гостинице, на пляже, которых я даже не помнил — все они были допрошены. На следствии я узнал, что все

работники израильского посольства находились под неусыпным оком КГБ. На один из запросов из Москвы была прислана подробная справка о некоторых работниках израильского посольства со всеми их биографическими данными, и многое о них я узнал именно из этих справок, которые читал, подписывая 206-ю. Большая часть изъятой литературы была послана в Москву на идеологическую экспертизу. Самые безобидные брошюры по экономике, культуре, спорту определялись экспертизой как идеологически вредная литература, не предназначенная для широкого пользования. Когда я говорил своему следователю: "Позвольте, где же тут "антисоветчина", когда здесь Советский Союз ни одним словом не упоминается", мне отвечали: "Да, мы знаем, у сионистов пропаганда тонкая, у них имеется большой опыт отравлять сознание людей. Вот посмотрите на эту брошюру, как здесь преподносится израильская действительность. В хвалебном тоне? В хвалебном, а Израиль, как известно, буржуазное государство, значит здесь восхваляется буржуазное государство. А если вы восхваляли буржуазное государство, то этим самым порочили социалистическое государство. Вот вам и антисоветчина". Такова их железная логика. И еще об их логике. Однажды следователь говорит: "Ну какой у нас антисемитизм! Разве у нас есть черта оседлости, как в царской России, или мы уничтожаем евреев в газовых камерах, как это делали гитлеровцы? Вот это антисемитизм, но у нас ведь всего этого нет".

К концу следствия мне предложили взять адвоката. Я сказал, что буду себя защищать сам, так как знал, что в таких делах адвокат ничем не поможет. Мне на это возразили, что поскольку есть обвинение, то должна быть и защита. Если я не выберу адвоката сам, то они мне его назначат. Когда же я назвал фамилию адвоката, с которым я был хорошо знаком, то мне было сказано, что к таким делам не каждый адвокат может быть допущен, а есть определенный список адвокатов, которые имеют допуск к делам, следствие по которым ведет КГБ. Мне пришлось согласиться. Мне назначили адвоката, который являлся председателем Коллегии адвокатов БССР.

Следствие продолжалось пять месяцев. Месяца четыре из них я находился в камере-одиночке. Особенно тоскливо

тянулись выходные дни и праздники, когда целыми сутками не с кем было слово перемолвить. Целыми днями я маячил взад и вперед, играл сам с собой в шахматы и шашки или просматривал классическое советское чтиво вроде Ажаева, Бабаевского, Шолохова. На все мои просьбы дать почитать настоящую литературу мне отвечали, что это и есть настоящая литература, только она может меня перевоспитать, если вообще меня можно еще перевоспитать. Они говорили, что литература — это для меня лекарство. Но меня почему-то от этого лекарства тошнило. Около недели сидел со мной еврей, морской офицер, который в конце 40-х годов служил на Дальнем Востоке, был в Китае и там познакомился с каким-то иностранцем. В результате этого знакомства у него появилась статья "шпионаж". Более двух недель сидел со мной белорус из Гродно. До войны он служил в польской армии, в войну попал в советский плен, затем был в советском лагере возле знаменитых Катынских лесов. Ему посчастливилось — его вместе с другими пленными отправили в архангельские лагеря. В начале войны он был отправлен в армию Андерса, которая из Средней Азии через Иран дошла до Палестины и Египта, участвовал в освобождении Италии, там же после войны окончил школу разведчиков и был заслан в Советский Союз под видом резидента. Он жил и работал около 10 лет в Гродно. Попался на какой-то мелочи. Обо всем этом он мне рассказал со многими подробностями, так как следствию уже все было известно, и он сам во всем признался. Его дальнейшая судьба, так же как и судьба первого сокамерника, мне неизвестна.

Суд отступает от решения "предварительного судебного заседания"

Наконец мне объявили, что суд состоится 28 апреля, и судить меня будет Верховный суд БССР. Мне вручили обвинительное заключение, дали бумагу и карандаш, чтобы я мог подготовиться к защите. Тогда я еще надеялся, что суд будет открытым, и я смогу использовать его трибуну для защиты своих взглядов. Но оказалось, что кроме судей,

защитников, прокурора и конвоя никого в зале заседаний не было. 28 апреля утром ко мне пришел парикмахер, который тщательно постриг меня и побрил, затем принесли утюг и предложили отутюжить костюм, мне вернули даже мой галстук, изъятый после ареста. После завтрака меня привели в отдельную комнату и там передали охраннику из войск МВД, который должен был сопровождать меня на суд. Офицер спросил мою фамилию и все мои данные, тщательно сверяя их по моему делу, которое держал в руках. Охранники раздели меня, тщательно обыскали, после этого вывели во двор. Там уже ждал воронок. Меня заперли в один из боксов, и машина тронулась. В полу бокса была щель, через которую я видел мостовую. И по тому, какова она была, — мощеная булыжником, клинкером или покрытая асфальтом, — я примерно знал, по каким улицам мы едем. Минут через 15 машина остановилась, еще через 5 минут дверь раскрылась и меня выпустили. Последовала команда: "руки назад, не разговаривать, по сторонам не смотреть", — и меня провели в здание суда через черный ход. В коридоре стояло много знакомых, друзей и родственников. У большинства из них лица были испуганные, взволнованные, а у женщин заплаканные. Я поздоровался с ними и старался держаться весело и непринужденно. Меня ввели в отгороженное место со скамьей подсудимых. Там уже сидели оба моих подельника. Ряды в зале были совершенно пусты. После формальной проверки, являемся ли мы в самом деле теми, кто им нужен, суд начал свою работу. Председателем суда был зампреда Верховного суда БССР Абушкевич. На вопрос, признаю ли я себя виновным, я ответил: "Нет, не признаю". Подельники себя виновными признали. На вопрос: "А как же с антисоветской литературой, которая была у вас изъята?", я ответил, что литература действительно моя, но я не считаю ее антисоветской и потому по этому пункту виновным себя не признаю. Адвокаты моих подельников сваливали всю вину на меня. Мой же адвокат признал, что я совершил преступление, и преступление очень серьезное, но старался смягчить наказание с помощью моей биографии. Мол, во время войны я находился в гетто, в 13 лет остался один, всю мою семью уничтожили нацисты-антисемиты и поэтому у меня такая повышенная чувствительность к

антисемитизму. И сталкиваясь с отдельными хулиганами-антисемитами, я делал неверные выводы и обобщения. Кроме того, он обвинял еще сионистскую пропаганду, которая ловит подобных мне идеологически неустойчивых людей.

Вызвали около 20 свидетелей — лишь тех, которые давали показания, подтверждающие обвинение. Свидетелей вызывали по одному. Некоторые из них отказались от своих прежних показаний, объясняя это тем, что их запугивали и держали по шесть-восемь часов на допросах. Прокурор Вербицкий начал свою речь с истории евреев в Советском Союзе. Он перечислил евреев, занимающих ответственные посты. Назвал число генералов и ученых, героев Советского Союза и героев соц. труда, подробно перечислил, что и сколько дала мне советская власть. Затем он обрушился на сионизм и государство Израиль и лишь после этого перешел к моему делу. Особо он остановился на обвинении в намерении осуществить покушение на Хрущева. Сопровождая свою речь театральными жестами, он патетически говорил: "Знаем, как вы тщательно отрабатывали свои движения до автоматизма для совершения преступления!" И тут же имитировал два выстрела вперед, выстрел себе в рот, а затем, как я хотел раздавить ампулу с цианистым калием, защиту в лацкан рубахи. На протяжении своей речи он неоднократно разрешал себе грубые антисемитские выпады. Даже председатель суда вынужден был его останавливать. Весь раскрасневшийся, с пеной у рта он кричал: "Вам советская власть дала образование, воспитала, дала работу в столице Белорусской Республики, я подчеркиваю, Белорусской, а не еврейской!" В конце своей речи он сказал: "Так как попытка покушения не была претворена в действие, а было лишь намерение, то покушение снимается, но намерение будет одним из пунктов обвинения по статье 70 УКБ" (Уголовный кодекс Белоруссии). В заключение он потребовал приговорить меня как организатора этой преступной группы, как человека, имеющего высшее образование, который встал на преступный путь не по своему невежеству, а осознанно, — к пяти годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Моему подельнику-врачу он потребовал два года, мотивируя этот относительно небольшой срок тем, что тот до ареста был членом КПСС, исключен из партии только

сейчас, и это само по себе является тяжким наказанием для него. О моем втором подельнике прокурор сказал, что он был пассивной фигурой в нашей группе, и потребовал для него всего шесть месяцев заключения, а так как он отсидел уже пять, то ему оставался лишь месяц. Мой адвокат, как я уже писал, почти полностью был согласен с обвинением, но просил учесть мою биографию и положительную характеристику с работы и ограничиться минимальным сроком. Интересно, что когда характеристика была отрицательной, судья говорил: "Вот видите, он и на работе проявил свое отношение к советской власти. Плохо работал, не принимал участия в общественной жизни коллектива, был неуживчив и так далее". Если же характеристика была положительной, то: "Понятно, это он специально, чтобы войти в доверие к коллективу, расположить к себе сотрудников, старался хорошо работать, занимался общественной деятельностью и под покровом хорошего отношения занимался своей преступной деятельностью".

Когда прокурор потребовал для меня 5 лет заключения, я был удивлен. Правда, еще накануне суда меня на следствии познакомили с новым кодексом, по которому по статье 70 УКБ давали от 6 месяцев до 7 лет. Здесь же, когда я узнал, что статья о покушении снята, а статья об измене родине еще на следствии была снята, и осталась лишь одна статья с предельным сроком 7 лет, то я ожидал, что получу по этой статье на всю катушку. После того, что я ожидал сразу после ареста, мне это казалось детским сроком. Все зависит от того, как себя настроишь. Когда прокурор просил для меня 5 лет, я знал, что обычно обвинитель требует с запасом, и, как правило, суд выносит приговор несколько мягче требования прокурора, поэтому я рассчитывал, что получу три-четыре года.

В своем последнем слове я продолжал отстаивать свои позиции, говорил о государственном антисемитизме в Советском Союзе, о подавлении всякой национальной жизни евреев, о насильственной ассимиляции и что моя конечная цель — выехать на свою родину — в Израиль. Мой адвокат был шокирован моим последним словом, так как в перерывах между судебными заседаниями он меня уговаривал признать себя виновным, сказать, что я заблуждался, и

просить прощения. Суд продолжался 2 дня. Адвокат говорил мне, а позже моим родственникам, что на предварительном судебном заседании (интересно, насколько это действие процессуально!) было решено дать мне 3 года. Суд удалился на совещание. Через час с небольшим судебная тройка вновь вошла в зал заседания и предложила всем встать — председатель суда зачитал приговор. После перечисления обвинений в антисоветской пропаганде, распространении сионистской литературы, преступной связи с работниками израильского посольства, в террористических намерениях по отношению к одному из руководителей партии и правительства, во встречах с иностранными туристами и в клевете на советскую действительность — суд приговаривает меня к 6 годам заключения в исправительно-трудовых лагерях. Так как судил меня Верховный суд БССР, то приговор обжалованию не подлежал. Мне показалось, что они оговорились, я не ожидал, что они могут приговорить к сроку даже большему, чем требовал прокурор. Но оказалось, что это не оговорка. Одному подельнику дали 2 года, а второму — 6 месяцев. Я был подавлен неожиданным приговором и упрекал себя за то, что настроился на 3—4 года. Когда еще на следствии я понял, что они не докажут обвинения в покушении на убийство, а значит, не приговорят меня к высшей мере наказания, хотя и дадут предельный срок 25 лет, у меня было гораздо лучшее настроение, чем сейчас, когда я получил всего 6 лет. Позже адвокат сказал моим родным, что 6 лет мне дали, как ему объяснил председатель суда, за дерзкое поведение на суде и отстаивание своих преступных взглядов.

ВТОРОЙ СРОК

Этап

Приговор мне вынесли 29 апреля. Я не имел права обжаловать его, и меня должны были сразу же отправить в лагерь. Но был канун Первомайских праздников, и мне пришлось пробыть еще несколько дней в тюрьме. Тюрьма, как я уже

писал, находилась в центре города на проспекте Ленина. И, сидя в эти дни после приговора в камере-одиночке, я отчетливо слышал все, что происходило на улице. Я находился всего метрах в 60 от Первомайского парада, но мне казалось, что я где-то в другом мире, так все это было далеко и чуждо мне. После праздников рано утром открылась кормушка, показалась часть чьей-то физиономии, которая приказала: "Рубин, собирайся с вещами!" Меня вывели в специальную комнату, там меня ожидал офицер войск МВД с моим делом. Снова проверки, обыск — и меня повели к ожидавшему во дворе воронку. Один из моих поделничков остался в тюрьме досиживать оставшиеся ему недели, а второго отправили другим этапом. В дальнейшем ни на пересылках, ни в лагерях мы с ним не встречались. Не знаю, по его ли просьбе, но администрация решила держать нас порознь — как бы я не вздумал ему мстить за его поведение на следствии и суде. Из двух лет он отсидел полтора и был досрочно освобожден.

Воронок отвез меня к "столыпину", который стоял на запасном пути. В вагоне меня снова проверили и отвели в купе. Там уже было человек 12, а так как я был последним, то мне пришлось лезть наверх. Вагон стоял еще часа 3, потом я почувствовал, как его прицепили к составу. И вагон, и охрана были мне знакомы с прежних времен. Разница была в том, что тогда и в тюрьме, и в вагонах было засилье уголовников, а сейчас со мной были лишь политические, так что атмосфера была лучше. Кормили по-прежнему селедкой, в воде ограничивали, в туалет водили всего 2 раза в сутки. И сейчас, как и 10 лет назад, на все просьбы следовал один и тот же ответ — "не положено". Так мы доехали до Москвы. Вагон наш отцепили и откатили куда-то подальше от людских глаз. Там нас перегрузили в воронки и отправили в пересыльную тюрьму на Красную Пресню. Это была огромная многоэтажная тюрьма, битком набитая заключенными. Прежде всего нас повели в баню, и там меня впервые постригли наголо, побрили во всех местах, прожарили одежду, и я стал санитарно обработанным заключенным. После бани нас развели по камерам. В пересылке были корпуса уголовников и корпуса политических. В камере были двухэтажные нары, на них лежали вповалку с мешка-

ми, чемоданами и узлами. Часть ехала в обратном направлении из лагерей в тюрьмы, или на переследствие, или же свидетелями на другие процессы. Тут я впервые узнал о мордовских лагерях. Пересылка всегда отличается от обычной тюрьмы своим динамизмом — ежедневно кого-то уводят, кого-то приводят. Несколько раз меня почему-то переводили из камеры в камеру. Благодаря этому разнообразию время проходило быстрее. С другой стороны, хотелось узнать, куда меня отправят. Кто там, какие условия? Неизвестность тяготила.

Мордовские лагеря

Через 3 недели наконец-то меня вызвали с вещами. Слава Богу — этап. Я опять в который раз прошел все процедуры — проверку, обыск, затем воронок, "столыпин" и первая станция в Мордовии — Потьма. В Потьме находилась местная пересыльная тюрьма, куда направляли со всех концов страны. Тут были и политические, и немецкие военнопленные, часть которых еще держали как военных преступников после большой амнистии 1956 года. Были и уголовники разных мастей. Мордовские лагеря были одними из самых старых лагерей Страны Советов. Они росли, развивались и укреплялись вместе с советской властью. Мордовские Темники, так же как Соловки и Воркута, стали символом советского режима. Вся система лагерей именуется Дубровлаг, она включает в себя целую сеть отдельных лагерных зон. Внутренняя железнодорожная ветка соединяет все эти зоны между собой. Когда-то вся эта область была запретной зоной, куда без специального пропуска никого не пускали. Местное население — мордвины — сотрудничает с лагерной администрацией и с войсками МВД, которые охраняют эти лагеря. Если где-нибудь побег, местное население мобилизуется на поиски. Вся область разбита на участки, и по тревоге каждый занимает свое место, и таким образом всеходы и выходы из Дубровлага перекрываются. Большинство лагерных надзирателей — местные уроженцы. Многие работают по 20–30 лет на одном месте. Перед их глазами и

через их руки прошли многие тысячи заключенных разных времен. Некоторые из них выдвинулись даже в офицеры, как например, известный начальник режима третьего лагпункта Кицаев. (О нем еще будет речь). Но высшее начальство, как правило, присылалось из центра. Оно довольно часто менялось. На станции Явас находилось управление Дубровлага, которое координировало работу всех зон и постоянно перетасовывало заключенных, переводя их из зоны в зону. Как правило, заключенные долго не оставались в одной зоне — как бы они, не дай Бог, не создали какую-нибудь организацию. Управление контролировало работу заключенных на предприятиях, политико-воспитательную работу, иногда совершало инспекцию в зоны.

За жидов сидим

Меня направили сразу в 11-ый лагпункт. Он находился на станции Явас под боком у начальства. Из-за этого-то в этой зоне старались соблюдать большой порядок (порядок в понимании местного начальства), строже соблюдалась буква законов и инструкций по ограничению прав заключенных. Состав заключенных в лагере был очень пестрым. Основная масса состояла из военных преступников, притом не рядовых полицеев, власовцев и самоохраны, большинство которых было амнистировано в 1956 году. Это были "сливки" — начальники полиции, начальники следственных отделов гестапо. У каждого из них на счету были сотни и тысячи убитых и, разумеется, в основном евреев. Когда их спрашивали: "За что сидишь?", — они отвечали: "За жидов". Вначале, когда я слышал это, я наивно думал, что то ли какие-то евреи их предали, то ли евреи были среди чекистов или судей, но потом оказалось, что вся вина евреев в том, что они существовали, и, так как они существовали, то их пришлось убивать. Не было бы евреев, то они бы их не убивали и сейчас не сидели бы. Такова их логика, очень схожая с логикой чекистов. Эти люди были основной опорой местной администрации. Они занимали все теплые местечки в лагере. Они были дневальными в бараках, бригадирами, нарядчиками, работали в хлеборезках и на кухне. Из них же

вербовали большинство стукачей. До войны многие из них были активистами в советских органах власти. Во время войны они рьяно выслуживались перед немцами. Они выполняли самую грязную работу в наведении нового порядка. После войны, когда их арестовали, они так же рьяно служили чекистам, продавая всех и вся. Главное — выжить, выжить любым путем, любыми средствами. У лагерного начальства был подход чисто прагматический. Кто бы ни предлагал свои услуги, они охотно принимали, не брезгуя никем и ничем. Самая большая группа заключенных — украинцы. Большая часть их — бендеровцы, которые в войну воевали и против советской власти, и против немцев за самостоятельную Украину. Мельниковцы, которые всецело были на стороне немцев. Просто полицаи и гестаповцы из печально известных карательных отрядов, которым Украины было мало, и они свирепствовали и в Белоруссии, и в Польше, и в немецких концлагерях. Была большая группа литовцев. Были националисты Латвии, Эстонии, Кавказа. Были местные немцы и немецкие военные преступники, которые вначале находились на седьмом лагпункте, а затем их всех перевели в отдельную зону для иностранных подданных.

В то время началось движение либералов, или, как их тогда называли, ревизионистов. В основном это были студенты. Первый результат этого движения — их представители находились во многих зонах мордовских лагерей. Движение это было весьма пестрым. Были и сторонники либерализации югославского типа. Некоторые хотели либерализацию по образцу начального периода гомулковской Польши, но почти все они стояли на марксистских позициях. Между ними происходили постоянные споры, доходившие иногда до открытой вражды. Почти всех ревизионистов, и не только ревизионистов, объединяло неприятие существующего строя. Но когда начинали предлагать взамен нечто позитивное, тут начинались споры. Многие из них часто меняли свои взгляды, а некоторые кидались из одной крайности к другой, от ревизионизма к монархии, от демократии к фашизму. Были и группы молодых откровенных русских нацистов, у которых вся их программа переустройства страны зиждилась на животной ненависти к евреям. Между

собой они спорили лишь о том, как лучше решить еврейский вопрос — построить ли для евреев в Сибири концлагеря немецкого типа, изгнать ли их из России или же просто пропустить через газовые камеры. На суде они открыто требовали очистить Россию от жидов. В лагере они постоянно занимались открытой антисемитской пропагандой. Администрация на все это смотрела сквозь пальцы, но если сходились 2–3 еврея, то она сразу поднимала крик о сионистских группировках. Разумеется, эти русские нацисты вдобавок к пропаганде не прочь бы и почесать руки об евреев. Но психология антисемитов известна — если они знают, что получают по голове, то ограничиваются злобным шипением. У нас было достаточно сил, чтобы их поставить на место, и они об этом хорошо знали. С другой стороны, никто из нас никогда не жаловался и не доносил на них, хотя материала было более чем достаточно. Это не потому, что боялись или жалели их — просто доноительство было нам чуждо и противно.

Было много молодых ребят, даже школьников, у которых еще не сформировались определенные взгляды, не было никакой идеологической базы. Они просто выражали свой протест против действий советских лидеров в то бурное послесталинское время. Один, например, во время первомайской демонстрации развернул плакат "Руки прочь от Венгрии". Это стоило ему трех лет. Другой дерзнул выступить на собрании по международным вопросам против течения. Третий написал и наклеил на столб наивную листовку. В лагере они примыкали к группам, которые казались им более привлекательными. Многие из них были детьми коммунистов, занимающих весьма высокие посты. Иногда их родители становились волей или неволей участниками их ареста. Помню, был один парнишка, сын крупного советского офицера. Когда в КГБ пронюхали, что он занимается чем-то недозволенным, но доказать этого не могли, то вызвали его мать и предложили ей "помочь им спасти ее сына", а иначе он окажется в тюрьме. Они предложили ей собрать все бумаги сына, записи, все компрометирующие материалы и принести им. Наивная мать "для спасения" своего сына так и сделала. И вот все эти материалы оказались в руках КГБ. В тот же день ее сын был арестован,

а затем получил 5 лет лагеря. Когда мальчишка узнал, кто его посадил, он отказался от своих родителей. Он отказывался получать их письма и посылки и жил только на лагерной пайке. Мать приезжала в лагерь. Ей давали свидание с сыном, но он категорически отказался идти на него. Можно представить себе состояние матери, которая собственными руками посадила своего единственного сына. В лагерной зоне находилась также группа бериевцев. Это были высшие офицеры и генералы КГБ, которые проходили по делу Берии и его помощников. Среди них было много грузин. Все бериевцы получили максимальный срок — 25 лет. В лагере все они были на привилегированном положении. Их всегда устраивали на тепленькие местечки — в библиотеки, на склады, в магазины, в бухгалтерии. Был среди них один армянин, старый чекист, который в своих жалобах постоянно доказывал, что в большинстве приказов об аресте крупных руководящих работников Армении его подпись всегда стояла ниже подписи Микояна. А теперь, мол, Микоян сидит в Кремле, а он в тюрьме. Впоследствии он сошел с ума и занялся изобретательством. Он сооружал миниатюрные ткацкие станки, и, надо сказать, весьма удачно. Он ткал на них узкие ленточки разных тканей. Потом он посылал Хрущеву рационализаторские предложения. На Кавказе, писал он, пасется несметное количество овец. Для охраны их приходится содержать огромное количество пастухов и специально обученных собак, что обходится государству весьма дорого. Так не проще ли скрестить овцу с собакой? Получившийся гибрид будет пастись и сам себя охранять.

В каком другом месте на земле могла образоваться такая человеческая смесь? Выходцы из разных стран, разных социальных слоев, безграмотные крестьяне и крупные научные работники, ярые нацисты и не менее ярые коммунисты, религиозные фанатики и убежденные атеисты, тупая чернь и старые аристократы, представители самых разных национальностей и народов. Особо нужно отметить огромное число сидевших за свои религиозные убеждения. Среди них были свидетели Иеговы, субботники, пятидесятники, католики-священнослужители из Литвы, униаты, ИПЦ (истинно-православная церковь), ИПХ (истинно-православные христиане, не признающие официальную советскую

церковь). Были и сионисты-христиане, и еще разные секты, которых я уже не помню. Большинство — малограмотные и фанатически верующие люди, но были и высокообразованные — католические священники, представители униатской церкви, в том числе и митрополит Слипый.

Была значительная группа убежденных коммунистов, бывших ответственными работниками, которые во время борьбы за власть между Хрущевым и "антипартийной группой" пошли не в масть. Они писали анонимные письма в ЦК в поддержку группы Молотова, Маленкова и Кагановича. И так как их флюгер повернулся не по ветру, они получили по 3—5 лет. Были такие, которых возмущало все, что им приходилось видеть за кулисами, в личной жизни избранных народа. Сидел с ними бывший командир партизанского отряда Белоруссии. Он был известным партизаном, Героем Советского Союза, в свое время о нем слагали песни. После войны он работал в Кремле, заведовал строительством квартир, дач и вилл для своих кремлевских хозяев. Это было время, когда многие семьи имели по одной комнате, многие жили еще в бараках. У Фурцевой в то время кроме прекрасной квартиры в Москве были дачи в Подмоскowie и на Черном море. Однажды, как он рассказывал, она взобралась на какую-то скалу у Черного моря и потребовала, чтобы он построил ей в этой скале с великолепным видом на море домик и спортивную площадку. Все это должно было стоить огромных денег. Его это разозлило, и он написал жалобу Хрущеву, в которой показал, как растрачиваются народные средства. Месяца через два его вызвал к себе тогдашний глава ГБ Серов, а уже оттуда его увели под стражу. Ему дали 5 лет за клевету на государственных и политических деятелей Советского Союза.

Были еще перебежчики, которых обманым путем возвращали обратно в Советский Союз или же просто выкрадывали. Им посылали письма, которые писали их родственники под диктовку в кабинетах КГБ. Их убеждали, что если они вернуться, то уже этим самым искупят свою вину перед родиной. Были случаи, когда они назад возвращались вместе с Громыко или другими крупными советскими чиновниками — послами, дипломатами. Те им лично обещали, что их не посадят, если только они вернуться домой. Но как только

они пересекали советскую границу, тон резко менялся, и с ними уже разговаривали как с изменниками родины. Были такие, которых сразу не сажали, а сначала выжимали из них все что можно для советской пропаганды. Они потом рассказывали, что тексты их выступлений были написаны в КГБ, они должны были лишь читать их и рассказывать всякие небылицы о том, как с ними обращались за границей, как их вербовали в ЦРУ, и обо всех ужасах жизни при капитализме. И лишь после всего этого их осуждали на полный срок. Так было и с моряками танкера "Туапсе", и с другими невозвращенцами, которых в конце концов разными хитростями заманивали обратно в Союз.

Мы ведь с вами русские люди

В мордовских лагерях евреев было около пятнадцати процентов. Сидели они за разные "преступления". Почти во всех ревизионистских группах были и евреи, которые еще не извлекли урок из ошибок своих отцов и дедов и наивно пытались изменить антисемитскую сущность России. Интересно, что многие неевреи из этих группировок мне рассказывали, как чекисты всячески старались пробудить в них антисемитские инстинкты и заставить свалить основную вину на евреев. Допрос начинался с вступления, насыщенного самыми грубыми антисемитскими выпадами. Слово "еврей" они даже не употребляли, а говорили "жид". "Ведь вы же русский человек. Мы ведь с вами русские люди! Что у вас с ними, с этими жидами, общего? Ведь это инородное тело в нашем организме. Сколько волка ни корми, он все в свой лес, то бишь в Израиль, смотрит. Вот смотрите, как они вас предали". И агентурные данные об этом парне они преподносили так, как будто они их получали от его подельника-еврея. В некоторых случаях они прямо предлагали свалить всю вину на еврея и сделать его главным обвиняемым в процессе, даже если он имел лишь косвенное отношение к делу. Некоторые из русских ребят оказывались на высоте и не соглашались на эти гнусные предложения. Разумеется, тот, кто шел на эту сделку, об этом потом не

рассказывал. Были в лагере и еврей-одиночки, которые писали об антисемитизме и открыто им возмущались. За эту "клевету" они тоже получали от трех до восьми лет. И, наконец, были евреи, сидевшие за сионистскую деятельность.

Сионисты были из разных концов России — из Москвы, Ленинграда, Риги, Киева и других городов. Самое отрадное, что среди них была и молодежь. Это была первая разведка боем новой сионистской поросли после того, как, казалось бы, была вырвана с корнем вся сионистская жизнь в России. До ареста, в Минске, я чувствовал себя одиночкой среди ассимилированных или запуганных евреев. Здесь же я был приятно удивлен тем, что сионистское движение самопроизвольно возникло во многих городах. Оно еще было малочисленно. Основная масса советской молодежи находилась еще в путях вульгарного советского интернационализма, а те евреи, которые были когда-то сионистами или сочувствовали им, пребывали под властью страха со сталинских времен.

При всех расхождениях нас в лагере объединяло одно — Израиль. Мы постоянно встречались, обменивались информацией, каждый рассказывал, что он слышал и читал об Израиле. Старшее поколение рассказывало об истории еврейского народа, о его культуре и традициях. Среди него были знающие иврит, и мы даже начали с их помощью его изучать. Разумеется, условия для нас были особенно тяжелые, все мы были под постоянным надзором. Учебников и словарей не было. Мы сами составляли маленькие словари. Брали русские буквари и писали в них переводы русских слов на иврит. Составляли самые обиходные предложения. Все еврейские праздники мы отмечали вместе, каждый приносил, что мог. Мы собирались в каптерке, кто-нибудь из пожилых евреев читал соответствующую молитву и мы, по возможности, старались соблюдать все правила. В Судный день все мы постились — и религиозные, и нерелигиозные. Соблюдали мы эти традиции не столько по религиозным причинам, сколько для проявления своей национальной сущности. Мы делали из старых серебряных монет маген-давиды и носили их на груди. Вообще человек в лагере внутренне свободнее, чем на воле. Если он сионист, то не скрывал этого, так как свое он уже получил, и ему теперь

бояться нечего. Разве только, если он станет заниматься активной деятельностью, и об этом станет известно начальству. Если он нацист, то он тоже не скрывал этого и открыто выражал свои чувства и взгляды, а начальства ему приходилось бояться еще меньше, так как быть нацистом в глазах чекиста куда меньший грех, чем быть сионистом. Религиозники открыто молились и исполняли свои обряды. Люди намного откровеннее выражали свои взгляды, чем на воле. В лагере, как и вообще в трудных и опасных условиях — на войне, в плену — человеческие качества проявляются значительно более четко. Если человек был трусом, шкурником, эгоистом, беспринципным, и на воле в более нормальных условиях это не всегда было видно, то здесь, в лагере, все сразу выходило наружу. С другой стороны, люди благородные, мужественные, принципиальные выигрывали на общем фоне. Более четким было и отношение к евреям. Все условности, существующие на воле, отпали. Если он антисемит, то ему нечего бояться или стесняться. Он об этом открыто говорит, даже кричит, а если может, то и действует. Если он юдофил (были и такие, но, к сожалению, единицы), он резко выделялся, как белая ворона в черной стае антисемитского каркающего воронья.

Больше всего администрация боялась единства среди заключенных. Поэтому она старалась разжигать вражду между ними любыми методами и средствами. Раньше, когда политические сидели вместе с уголовниками, в лагерях всячески натравливали уголовников на политических и политических на уголовников. Теперь пользовались иными методами — разжиганием национальной вражды. Русских натравливали на грузин, украинцев на русских, грузин на армян и всех вместе, конечно, на евреев. Заключенные обычно держались группами. Объединялись или по национальному происхождению, или по убеждениям, или же просто объединяла личная дружба. Вечерами собирались где-нибудь в каптерке, располагались среди бушлатов, валеков и портянок, пили кофе, если был, вели споры. Это была единственная отдушина, единственные часы относительного покоя после изнурительного рабочего дня и общения с держимордами лагерной администрации и тупой чернью. Больше всего начальство ненавидело такие группировки, его

произв-
закон
от 12 д
не зна
завода
ние, т
сделал

Арест

14 н
аудио
дека
что с
поме
рова
ли д
необ
воп
так
это
деп
не
ка
мь
и
рс
б
в
п
ж
г
)

бесило, что многие из этих ребят были детьми хорошо обеспеченных родителей, что они были студентами, интеллектуалами, и, главное, что некоторые из них считали себя социалистами, но не в его, начальства, понимании этого слова. И, наконец, среди них всегда были евреи.

Как бывало в старину, главным врагом начальства были жида, "скубенты" и "сицилисты". Во время этапа проверялось содержимое чемоданов, а в чемоданах этих ребят было полно всяких книг. Надзирателей это окончательно выводило из себя. Они кричали: "А! Опять скубенты! Хфилозофия вам нужна, книжечки читать, а работать кто за вас будет!" Особенно приводили их в бешенство книги еврейских авторов — Фейхтвангера, Эренбурга. Выговаривая эти фамилии, они всегда ломали себе язык. Натравливание заключенных-полицаяв на молодежные группы было полуофициальной линией администрации. Однажды нас должны были перевести из 17-й зоны, где мы, то есть, сидевшие по нашей статье, находились отдельно от полицаяв, в общую зону 11-го лагпункта. Зам. начальника лагеря по политчасти майор Марченко перед нашим приездом собрал всю зону и выступил с речью. Он сказал: "Я понимаю, когда вы совершили свои преступления, то это было военное время. Если бы вы не убивали, то, возможно, что вас убили бы. Здесь еще можно вас понять. Но эти маменькины сынки, которые ели булку с маслом, не знали голода, не работали — чего они хотели? А они хотели власти, власти над вами, простым людям. Сейчас, когда они приедут, то они тоже будут стремиться поменьше работать, а побольше читать и философствовать, все это за ваш счет. Вы же не должны допустить этого. Мы их распределим по вашим бригадам, и вы должны заставить их работать, показать им, как зарабатывается кусок хлеба". Чернь была в восторге от его слов. Интересно, что как для администрации, так и для лагерной черни все эти группировки считались еврейскими, хотя евреев там было меньшинство.

Всякий интеллигент, любой, носящий очки, шляпу или галстук, считался в лагере евреем. Когда приезжало начальство из Москвы, то почти всех их считали евреями. Чистокровным русским они считали только человека с грубой мужицкой внешностью. Они искренне верили, что вся власть

в Советском Союзе находится в руках евреев, распускали самые невероятные слухи о евреях и сами же верили им. Уверяли, что Хрущев полностью в руках евреев и лишь подписывает бумажки, которые они подсовывают ему. Говорили даже, что и сам Хрущев еврей, только ему сделали пластическую операцию. Невежество черни еще можно как-то понять. Но встречались также образованные, как будто толковые люди, которые тоже верили самым диким слухам о евреях, в которых не было ни логики, ни здравого смысла. Но они верили, верили потому, что хотели верить. Это отвечало их внутренней потребности, их глубокой, подсознательной, потомственной животной ненависти к евреям. Она мутила им разум. Русские ребята часто бывали в одних компаниях с евреями, дружили с ними, ели и пили вместе и даже защищали их от антисемитских нападков. Но стоило им попасть в другую зону и оказаться в среде русских наци, да если еще какой-нибудь еврей обидит, они из друзей превращались в самых ярких юдофобов. И вскоре, уже теоретически подкованные, они исторически обосновывали антисемитизм.

В лагере, как нигде, была видна враждебность и ненависть к евреям со стороны толпы, притом независимо от идеологии и политических взглядов. Так, всякого рода антикоммунисты и антисоветчики обвиняли евреев в том, что они совершили революцию в России и захватили власть в свои руки. Для них почти все руководители международного коммунистического движения и советской России были евреями. Для них коммунист и еврей были синонимами. Они твердо убеждены, что для того, чтобы освободить Россию от коммунистов, надо очистить ее от жидов. В полуофициальной же советской пропаганде все евреи были агентурой международного империализма. Почти каждый еврей прямо или косвенно связан с реакционными организациями. Все они, от Бернштейна до Ларсена, были ревизионистами истинного марксизма (то, что сам Маркс был евреем, игнорировалось). Считалось, что для того, чтобы очистить марксизм от всякого рода ревизионизма, надо очистить его от жидов. И у тех и у других во всем были виноваты жида. Если еврей в лагере не хотел работать, то ему говорили, что еврей никогда не работали, нигде не работают, что они

привыкли жить за счет других. Но были евреи, работавшие по две смены подряд, они буквально ночевали в цеху и их фотографии постоянно висели на доске почета как фотографии лучших работников лагеря. Об этих говорили, что жадность евреев к деньгам не знает предела — они готовы работать круглосуточно, лишь бы получить несколько лишних рублей, что ради денег они готовы на все.

Когда я прибыл в лагерь, тогдашний председатель Верховного Совета СССР Ворошилов, находясь в Индии, громко заявил, что в Советском Союзе нет политзаключенных. Через некоторое время Хрущев в интервью заявил то же самое. Тогда мы спрашивали у лагерного начальства, а кто же мы? Воры? Убийцы? Насильники? Нам неуверенно отвечали: "Вы просто государственные преступники". На 11-ом лагпункте был деревообрабатывающий комбинат. Меня определили в бригаду, работавшую на пилораме. Работа была тяжелая, нужно было крюками волочить и подавать на распиловку огромные бревна. Так как все рабочие процессы на пилораме были связаны между собой, то приходилось прилагать максимальные усилия, чтобы из-за тебя не простаивал другой. После 6 месяцев тюрьмы и пересылок я сильно ослабел и приходил с работы измотанный, с непривычки болели все мышцы. Нового заключенного администрация лагеря особенно старалась послать на самые тяжелые работы, чтобы сразу сломить его физически и духовно. Официальная норма питания была 2200 калорий на человека в день, но пока эта норма доходила до заключенного, оставалось намного меньше двух тысяч. Давали 600 граммов хлеба, было положено 40 граммов мяса или рыбы, но мяса мы практически не видели в глаза. Было положено 15 граммов растительного масла в день и 15 граммов сахара. Согласно медицинским нормам питания, на подобных физических работах необходимо 5—6 тысяч калорий в день. Без этих калорий организм заключенного постепенно истощался.

Осенью 1959 года было решено отделить новый поток — 70-ю статью (по старому кодексу 58-10) от других заключенных, сидевших по политическим статьям. Всех нас перевезли в лагерь 7/1. В этой зоне тоже были цеха деревообработки. Кроме того, многих, в том числе и меня, отправляли

на работу за зону. Работы были разные, вернее, работы не было никакой. Но чтобы как-то занять заключенных, нас направляли на полевые работы, на уборку территорий, корчевку пней. Пни корчевали вручную. То, что с помощью лошади, не говоря уже о тракторе, можно было сделать за час, мы целой бригадой делали несколько дней. Сначала подкапывали пень, потом рубили верхние корни, потом, впрягшись всей бригадой, пытались вытащить его из земли. Бригадир командовал "раз-два — взяли!" — и все, напрягаясь до предела, тянули цепи и веревки, привязанные к пню. Такова была техника 60-х годов XX века. Выкорчеванные пни мы стаскивали в одно место. Если завтра не было другой работы, то мы должны были переносить эти пни в другое место. Часто нас заставляли перетаскивать с места на место камни, чтобы нас чем-то занять или, как говорил начальник, "чтобы у нас мускулы не одрябли". Разумеется, денег, даже мизерных, которые можно было заработать, перевыполнив норму в цехе, за эту работу мы не получали. Целью в данном случае была не продукция, а выжимание пота. Через некоторое время появился так называемый покупатель рабочей силы с 3-го лагпункта и стал отбирать заключенных для этапа в 3-ю зону.

В администрации 3-го лагпункта особенно выделялся начальник режима старший лейтенант Кицаев. За свою многолетнюю работу в лагерях он приобрел огромный опыт и сноровку. Полуграмотный, он дослужился до офицера. У него был собачий нюх на заключенного. Сочетание этой своеобразной проницательности, холодного расчета и жестокости очень подходило для его должности. Он всегда неожиданно появлялся то на разводе, то ночью в бараке, то в рабочей зоне. Его зоркое око всегда фиксировало малейшее нарушение, как ему казалось, режима, а если такового не было, то он мастерски умел придраться к чему угодно, и жертву уводили в карцер. У него была потребность каждое утро сажать кого-нибудь в карцер — вроде потребности в завтраке или в курении. В 3-й зоне мы работали на хозяйственном дворе. Заготавливали дрова, работали на пилораме. Однажды мы рыли котлован для цеха. Вырыв не более полуметра, мы обнаружили огромное количество человеческих скелетов, лежащих рядами. Во многих черепах

были дырки от пуль. Когда начальство заметило это, нас сразу же отогнали в сторону. Затем приехало руководство из Управления, и нам велели зарыть все обратно. Через несколько дней мы начали рыть котлован уже в другом месте. Нам "объяснили", что это всего лишь старое кладбище.

На 3-м лагпункте размещалась также больничная зона, куда привозили со всех лагерей Мордовии тяжелобольных. Там были бараки для хирургических, туберкулезных, терапевтических с неврологическими вместе и так называемый "дурдом", куда помещали психически больных. Интересно, что в каждой зоне было какое-то количество явно психически больных. Некоторые заболели в лагере, некоторые на следствии, но так как в их деле об этом ничего не было, то администрация к ним предъявляла требования как к здоровым. Но после первого же общения с ними их психическое состояние ни у кого не вызывало сомнений. С другой стороны, совершенно здоровых людей направляли на лечение в психбольницу в тех случаях, когда явного криминала для суда не было, но этого человека им необходимо было изолировать от общества. Например, поделник моего приятеля, научный работник, написал реферат, который явно шел вразрез с советской установкой в этой области и разбивал советские догмы. Его посадили в Ленинградскую психиатрическую больницу. Там ему прямо предложили отказаться от своей теории, тогда его сразу же выпустят. Он не согласился пойти на компромисс с совестью и отсидел в больнице 8 лет.

Бараки в больничной зоне были старые и полуразрушенные. Зимой в них было ужасно холодно. Они всегда были битком набиты больными, и никогда не хватало мест для вновь прибывших. Однажды я был невольным свидетелем разговора между начальницей больничной зоны и приехавшим высоким начальством из Москвы. Она жаловалась на тесноту, что зона, мол, рассчитана на такое-то количество больных, а больных присылают во много раз больше. В ответ на эту жалобу приехавший высокий офицер смеясь отвечал ей: "Подумаешь! Немного тесновато. Ну и что! Помню, мои зоны, когда я работал на Севере, были рассчитаны на 100 тысяч заключенных, а привозили полмиллиона, и мы их как-то размещали". В основном, в зоне работали

вольнонаемные врачи. Врачи и прочий обслуживающий персонал из заключенных находился под строгим контролем оперуполномоченного. Их постоянно проверяли, устраивали разные ловушки, стараясь поймать на том, что они удерживают заключенных в больничной зоне и для этого продлевают лечение. Например, мой приятель работал лаборантом. Ему часто приносили на анализ мочу здорового человека под фамилией подозреваемого больного или просто подсовывали чистую воду. Но он уже знал об этих хитростях и был начеку.

Наша рабочая зона размещалась по одну сторону больницы, а по другую была женская зона. В женской зоне в основном находились уголовницы. Атмосфера там была ужасной. Никогда я не думал, что женщины могут так опуститься.

В мужских зонах многие уже отсидели 20 лет или около этого. Большинство из них было арестовано в молодости, а сейчас им было около 40. Они ни разу в жизни не знали женщину. Результатом были всевозможные патологические способы удовлетворения физиологической потребности. Были случаи гомосексуализма, онанизма. В мужских зонах эти случаи были не часты, а гомосексуалисты всегда третировались основной массой заключенных. Фантазия же женщин в этом отношении была безгранична. Кроме огромного ассортимента изощренно придуманных заменителей, некоторые из них объявляли себя мужчинами — носили мужскую одежду, делали себе мужские прически, называли себя Мишками, Ваньками, Васьками и имели подруг, с которыми жили. Они ревновали, дрались и резались за своих любовниц. Назывались они коблы. Высшее счастье заключенной женщины — забеременеть от вольнонаемного надзирателя или конвоира. По беременности они получали освобождение на два месяца от работы и молоко. После родов ребенка забирали в детский дом, а мать снова возвращалась в свою рабочую бригаду.

Из 3-й зоны меня снова перевели в лагерь 7/1. Там находились, в основном, сидевшие за религиозные убеждения. Единоверцы держались отдельными группами, вместе работали, вместе ели и праздновали свои праздники. Некоторые из них, например, ИПХ, категорически отвергали

всякий контакт с администрацией, отказывались работать. "Работать на начальника, — говорили они, — значит работать на дьявола". Спали они без матраца, постелив простыню на голом щите. Их постоянно сажали в карцер, отправляли в закрытую тюрьму во Владимир, но ничто не могло сломить их веры. Особенной организованностью отличались свидетели Иеговы. Они регулярно получали газету "Башня стражи", выходящую в США. Женщины, приезжающие к ним на свидание, прятали эти газеты в самых сокровенных местах. В дальнейшем, узнав об этом, администрация устраивала им перед свиданием гинекологический осмотр. Свидетели Иеговы регулярно занимались, собираясь в бараках в определенные часы, выставляя охрану, которая цепочкой тянулась до вахты. Если появлялся надзиратель, то по этой цепочке давался условный знак, и все занимающиеся вмиг улетучивались.

В 1959—60-х годах правительство и КГБ, видимо, поняли, что перегнули палку массовыми арестами, и решили разредить переполненные лагеря. Многим начали сокращать сроки в ответ на их жалобы. Некоторых освобождали совсем, особенно тех, кому оставалось досиживать немного. Люди писали жалобы. Из прокуратуры требовали характеристику с места заключения, затем дело пересматривали и выносили решение. Именно в этот период некоторого потепления многие из заключенных, писавших жалобы, получали положительный ответ. Все зависело от общей ситуации. И до этого писали жалобы. Были такие, которые все свободное время тратили на писание жалоб. У некоторых количество жалоб доходило до 400—600. Писали в прокуратуру, в Верховный Суд, в Совет Министров, в ЦК КПСС, в газеты, в журналы, лично всяким политическим деятелям, но ответ всегда был стереотипный, причем из той инстанции, на которую жаловались: приговор правильный, оснований на снижение срока нет. Было ясно, что там уже привыкли отвечать этим штампом и жалоб даже не читали. Характерный случай произошел со мной. Когда меня отправили из тюрьмы в лагерь, мне сказали, что все мои вещи, в том числе и часы, изъяты после ареста, отправят следом за мной. Но прошло уже несколько месяцев после моего прибытия, а вещи я еще не получил. На все мои вопросы тюремная администрация

вообще не отвечала. Тогда я написал жалобу в прокуратуру на тюремную администрацию и получил ответ — приговор вынесен правильно, оснований на снижение срока нет. Теперь же многие ответы были благоприятными, но для этого требовалась хорошая характеристика с места заключения. Должно было быть написано, что заключенный хорошо работает, выполняет производственную норму, хорошо ведет себя.

Здесь уместно будет рассказать о том, что кроме вербовки скрытых стукачей разными инстанциями лагерной администрации, существовал еще открытый метод морального разложения заключенных. Были созданы так называемые добровольные группы по охране порядка в зоне. Их члены носили особые повязки на рукаве. Это были открытые ставленники начальника режима, служившие ему верой и правдой. В некоторых зонах создавались так называемые товарищеские суды, которые играли еще более гнусную роль. Судили отказывающихся от работы, не выполняющих производственные нормы, нарушителей дисциплины. Этот, с позволения сказать, суд выносил решение о переводе заключенного на пониженную пайку или в карцер, или же ходатайствовал перед администрацией о переводе его в закрытую тюрьму. Начальство достигало этим двух целей. Во-первых, как бы снимало с себя ответственность — это, мол, не оно, а наши же товарищи вынесли такое решение. Во-вторых, они сеяли еще больший раскол и вражду между заключенными. В лагере была и КВЧ — культурно-воспитательная часть, которая выпускала стенные газеты и организовывала художественную самодеятельность. Программу выступлений составлял замначальника по политчасти. Она состояла в основном из идейно-выдержанных вещей. На сцене также высмеивали нарушителей порядка, отказывавшихся от работы, и злостных антисоветчиков. В самодеятельности особенно активно участвовали бывшие гестаповцы, полицаи и им подобные. Например, трио бывших гестаповцев с большим воодушевлением пело "Партия наш рулевой", "Ленин наше знамя" и тому подобное. Как я уже говорил, подход начальства был сугубо прагматичный. Самодеятельность функционировала — это было главным. В нашем кругу существовал неписанный закон — не участвовать

ни в каких общественных лагерных организациях и ни в чем не сотрудничать с администрацией. Если кто-нибудь проявлял слабость и шел на это в надежде, что получит положительную характеристику, то он подвергался с нашей стороны полному ostrакизму. Я же, ко всему, никогда не забывал свое происхождение, так как знал, что на меня прежде всего смотрят как на еврея, а потом уже как на заключенного. А главное, для самого себя я старался быть всегда чистым от каких бы то ни было подозрений. Это давало мне моральное право требовать от других того же, и я чувствовал себя свободнее, увереннее.

Когда начали снижать сроки заключения, мои родственники послали очередную жалобу в прокуратуру БССР. Мой адвокат, будучи председателем Коллегии адвокатов Белоруссии, имея широкие связи и допуск во многие судебные инстанции, узнал, что при существующей благоприятной обстановке есть шансы на положительное решение моего дела. Мне об этом сразу же написали. Я уже начал надеяться, что и мне улыбнется фортуна. Работал я тогда в цеху по шлифовке деревянных футляров для настольных часов и норму постоянно выполнял. В эту зону я перешел недавно, и с администрацией у меня столкновений еще не было. Кроме того, все внимание администрации было сосредоточено на антирелигиозной борьбе, а это меня не касалось. Через некоторое время начальник отряда сказал мне при встрече: "Держись, Рубин, пришел запрос на характеристику. Теперь все зависит от тебя". Тогда я еще не подозревал, что они хотели использовать характеристику как рычаг для приобщения меня к так называемой общественной работе. Дня через два всех нас погнали на общее производственное собрание. Я взял с собой книжку и примостился в дальнем углу, чтобы не видели, что я читаю. Краем уха я слышал, что разговор шел о выполнении норм, о повышении производительности труда, о трудовой дисциплине. Затем они стали комплектовать разные общественные организации. Вел собрание начальник лагеря. Он читал списки заключенных, которых предлагают избрать в состав активистов. Вдруг я услышал свою фамилию. От неожиданности я вскочил как ужаленный и попросил повторить — не ослышался ли я. Он снова назвал мою фамилию. Тогда я с возмущением потре-

бовал вычеркнуть мою фамилию из этого черного списка и заявил, что не позволю, чтобы они моими руками осуществляли свои грязные дела. В зале стало тихо, и все уставились на меня. Тогда начальник лагеря заявил: "Вы находитесь не в Америке. Здесь демократия. Народ захочет — изберет вас, не захочет — не изберет". Я в еще более резкой форме повторил свое требование, и, только увидев мою непреклонность, он вычеркнул меня из списка, сказав при этом, что мне это дорого будет стоить. И действительно, на другой день была отправлена характеристика, а через две недели я получил ответ из прокуратуры, в котором было сказано, что снизить срок мне невозможно по причине моего плохого поведения в местах заключения. Некоторые мои друзья тогда меня ругали, что я напрасно поторопился, что надо было быть разумнее и просто промолчать, переждать, пока они не отправят мою характеристику, а потом бойкотировать эту общественную организацию. Но я не мог согласиться на то, чтобы моя фамилия фигурировала в списке активистов. Я не сожалел о своем поступке, чувствовал себя внутренне спокойным, так как совесть моя была чиста. Позже я спросил у начальника отряда, в чем выразилось мое плохое поведение. Он ответил, что основная моя вина была не столько в том, что я отказался участвовать в общественной организации, сколько в том, что я именно на общем собрании публично выдвинул свое требование и этим самым подал дурной пример другим. В итоге единственный за все шесть лет шанс на снижение срока я потерял.

Они хоть и воры, но наши, советские

После этого я жалоб вообще не писал, и вскоре мягкий период прошел, на жалобы вновь пошли отказы, и заключенные снова стали прибывать. В то же время к уголовникам продолжали проявлять удивительную гуманность. Им снижали сроки, отпускали на поруки, переводили в бесконвойную зону. На наши вопросы, почему отпускают на волю воров, убийц и бандитов, а нас держат за колючей проволокой, и режим становится все строже, начальство отвечало:

"Они хоть и воры, но наши, советские, а вы еще неизвестно чьими являетесь". Через некоторое время меня снова отправили в 3-ю зону, там было больше своих ребят и было немного веселее.

Периодически из Москвы приезжало высокое начальство проверять, как идет воспитание советских людей, которые сошли с правильного пути, указанного партией и правительством. Инспектора приезжали разные — и старые чекисты с огромным стажем еще досталинских времен, и новые кадры, не успевшие поработать во времена Сталина, что они часто ставили себе в заслугу. Многие из них были простыми солдафонами, у которых не было гражданской специальности, и после демобилизации из армии их направляли работать в КГБ. Во время бесед с заключенными они часто проявляли удивительное невежество и тупость. Их высказывания и реплики подчас вызывали всеобщий хохот. Помню, однажды какой-то подполковник зашел в барак, и, как всегда, заключенные определенной категории, попавшие в лагерь за случайно сказанное слово, за антисоветскую анонимку, за ругань в адрес Хрущева в пьяном виде и тому подобное, начали ныть: "Начальник, ну когда же нас отпустят домой!" И каждый старался излить свои личные обиды. Подполковник невозмутимо им отвечает: "Ничего, сидите, сидите! Ленин тоже в свое время сидел, посидите и вы". Или же как-то приехал генерал, ведающий культурно-просветительной работой. Он сразу же ринулся в лагерную библиотеку проверять, какой духовной пищей питают заключенных. Видя на книжных полках Бальзака, Мопассана, да еще Ремарка и других модных в то время писателей, он расвирепел и приказал немедленно убрать эту разлагающую литературу. На вопрос "почему", он стал менторским тоном разъяснять: "Что проповедают эти Бальзаки и Мопассаны? — Разврат! А нам нужна здоровая советская семья". При этом он побагровел и размахивал кулаком. На чей-то вопрос: "А вы знаете, что говорил Ленин о Бальзаке?", он, не слушая дальше, гаркнул: "Вы и тут извращаете слова Ленина!" Все расхохотались. Изъятые книги побросали в мешок и унесли. Однажды начальство 11-го лагпункта стало изымать у заключенных все открытки и репродукции великих художников Ренессанса с библей-

скими сюжетами. На вопрос, почему все это забирают, следовал ответ: "Потому что в лагере запрещено заниматься религиозной пропагандой".

Из 3-го лагеря всех нас — 70-ю статью — перевели на 17-й лагпункт. Зона эта находилась в стороне от железнодорожной ветки, и нас везли на машинах, которые были специально для этого оборудованы. Рядом находилась женская зона политзаключенных. Нас разделяли два пятиметровых забора, между которыми была запретка и стояли вышки с часовыми. Летом мы работали в поле, на сенокосе, на лесоповале. Заводов не было. Трудно сказать, когда было хуже — летом или зимой. То лето выдалось как раз сухое и жаркое, температура иногда была выше 30°. В 6.30 утра нас выводили за зону в поле. Здесь работа была физически не столь тяжелая, но 11–12 часов в такую жару в открытом поле, где не было ни тени, ни ручейка, доводило нас к концу рабочего дня до полного изнеможения. Был где-то недалеко от нас ручеек или речушка, но только для конвоя. Они по очереди ходили купаться, а мы лишь издали смотрели на эту воду, как на мираж. Обед нам привозили — горячую кислую капусту, пшеничную кашу и успевший высохнуть на солнце хлеб. Почти полные бочки с этой едой увозили обратно, так как есть горячие щи в такую жару, когда все изнывали от жажды, почти никто не мог. Зимой нас возили километров за 30 от зоны на лесоповал. Мы сидели рядами на полу машины с широко раздвинутыми ногами, между ног садился следующий ряд, и так до заднего борта машины. Нас старались разместить поплотнее, и мы были, как сельди в бочке. Рядом с кабиной в кузове была перегородка, за которой стоял конвой с автоматами и собаками. Мороз был 30–35°C. Когда мы доезжали до лесоповала, то уже совершенно не чувствовали своих конечностей. Работа была тяжелая, нормы большие, приходилось валить деревья, очищать их от сучьев, распиливать и штабелевать. И, конечно, при тех двух тысячах калорий, которые мы получали, да еще на таком морозе норму выполнить было трудно. Обед тоже привозили прямо в лес, наливали те же кислые щи в замерзшие алюминиевые миски. Пайка хлеба превращалась в ледяшку — приходилось нанизывать ее на заостренную палку и отогреть на костре, иначе не откусить.

В 1962 году вышел новый указ, по которому всех нас перевели на строгий режим. В лагерях существовало четыре режима: общий, усиленный, строгий и особый. Уголовники за первое преступление попадали на общий режим. За повторное преступление — на усиленный, а политических за первое же преступление направляли сразу на строгий режим, а за повторное — на особый. Прежде с общего режима можно было освободиться после двух третей срока. На строгом это было исключено. Письма разрешалось посылать лишь один раз в месяц. Получать посылки — начиная со второй половины срока — одну посылку в четыре месяца, не больше 5 кг вместе с ящиком, и то лишь при выполнении производственной нормы и хорошем поведении. Практически получить посылку удавалось очень немногим. Достаточно было отказаться от общественной работы или просто не понравиться начальнику отряда, и посылку отправляли обратно. Я за всю вторую половину своего срока, то есть за 3 года получил лишь одну посылку, и то случайно. Меня неожиданно перевели в другую зону, и вслед за мной сразу же пришла посылка. Поработать я еще не успел и поругаться с начальством тоже не успел. Начальник отряда оказался в хорошем настроении и разрешил мне ее получить. Это была первая и последняя посылка. В зонах были ларьки. Каждый заключенный имел право израсходовать на ларек пять руб. в месяц. Но опять-таки здесь имелось множество "но". Покупать можно было только из заработанных денег. Если заключенный работал в местах, где заработать невозможно, или же у него высчитывали всю зарплату, так как долги превышали заработок, то он, понятно, не мог пользоваться ларьком. Существовал длинный список продуктов, которые было запрещено продавать в ларьке: животные жиры, мясные продукты, сахар, молоко. Продавали лишь черный хлеб, ржавую хамсу, махорку, зубной порошок, а когда привозили растительное масло или повидло, у ларька образовывалась огромная очередь, ибо каждый, имеющий право на покупку, хотел израсходовать свою пятерку на эти относительно калорийные продукты.

В зоне особого режима царил атмосфера самых мрачных времен сталинской эпохи. Зона размещалась в 10-м лагпункте. Этот лагерь резко отличался своим жестоким режи-

мом от других лагерей. Прежде всего, все носили полосатую одежду. Режим был "камерный", то есть всех после работы запирали в камеры до утра. При других режимах хоть можно было свободно ходить в пределах своей зоны. Посылки были запрещены, вражда между заключенными, в частности национальная, была много острее. Был страшный голод. Ссоры между голодными доходили до драки — бросались друг на друга как звери. Бывали случаи, когда доведенные до отчаяния бросались на колючую проволоку запретной зоны, и часовой с вышки тут же стрелял в них. Некоторые предпочитали смерть мучениям особого режима.

Кроме того, существовала еще закрытая тюрьма в городе Владимире. Если нарушение режима заключенным повторялось несколько раз, или же по каким-нибудь другим соображениям администрация решала изолировать кого-нибудь на длительный срок, то дело оформлялось через суд и его отправляли в тюрьму. Условия там были жуткие, голодали страшно. Человек возвращался в лагерь неузнаваемым. Он был "тонкий, звонкий и прозрачный". Свидание разрешалось один раз в год, но лишь номинально. Стоило в чем-то провиниться, и свидания лишали. Никакие просьбы и мольбы родных не помогали. Родные приезжали за несколько тысяч километров, чтобы повидать своего сына, мужа, отца и побыть с ним день-два вместе. Их перед свиданием тщательно обыскивали. Не разрешали приносить продукты сверх пяти килограммов, и то при условии, если вообще полагалась посылка. В день свидания заключенного все равно выводили на работу в зону, а родственники целый день сидели в комнате свиданий. Администрация всячески старалась использовать свидание для шантажа, нажима и просто издевательств. Вначале вроде бы разрешали свидание, и заключенный писал об этом домой, но когда его родственники приезжали, начальство начинало ставить разные предварительные условия. Если эти условия не принимались, то свидание разрешали лишь на два-три часа или же совсем отменяли. Помню, приехала к приятелю мать из Архангельска. После того, как она проделала огромный путь, начальство отказало ей в свидании под каким-то пустяковым предлогом. Она ездила в Управление, упрашивала разное высокое начальство. Наконец, ей разрешили свидание с

сыном, но... всего на 2 часа в присутствии надзирателя и при условии, что она будет разговаривать с сыном только на воспитательные темы и постарается убедить его изменить политические взгляды и поведение в лагере.

Еженедельно проводились политзанятия. В основном они посвящались текущим международным и внутренним событиям. Иногда, с большими группами эти занятия проводил сам замначальника лагеря по политчасти. Иногда, по отрядам, занятия проводили начальники отрядов. На эти занятия заключенных просто сгоняли, за непосещение строго наказывали — лишали писем, посылок, свиданий или даже сажали в карцер. Я уже писал, что в лагере находилась очень разношерстная публика — от безграмотной черни до высокообразованных людей. Но занятия проводили для всех вместе, на крайне примитивном уровне. Начальники отрядов были, как правило, люди невежественные, заучившие несколько догм советской пропаганды. Иногда эти пропагандисты превращались в общее посмешище, и на занятиях стоял веселый хохот. Например, приходит пропагандист и заявляет: "Сегодня я вам буду читать лекцию о национально-освободительной борьбе в странах Латинской Африки". Он не оговорился и продолжает настаивать на этой формуле. В то время как раз был похищен Лумумба, и один из заключенных спросил: "Начальник, а начальник, а когда Лумумбу освободят?" Он отвечает: "Вот пусть работает хорошо, а тогда посмотрим", полагая, что это заключенный. Кто-то у него спрашивает: "Начальник, а каково сейчас положение в Триесте?" Он же, очевидно, впервые услышав это географическое название, возмущенно отвечает: "Какой трест! Причем здесь трест, я вам дам трест!" — схватил свою шинель и убежал из барака под общий смех. Однажды на всеобщих политзанятиях замначальника по политчасти прочитал лекцию о роли КПСС в строительстве коммунизма. После лекции поднимается заключенный, который все время внимательно слушал, и спрашивает: "Гражданин начальник, скажите пожалуйста, что же такое КПСС, когда оно началось и когда оно кончится?" Он спросил это искренне, безо всякого подвоха. Все, конечно, расхохотались, а его тут же схватили и дали 7 суток карцера.

В зонах политзаключенных был некоторый процент уго-

ловников. У них было по 7–10 судимостей, и по какой-то причине им захотелось перейти в нашу зону. А для этого много не надо было. Достаточно было где-нибудь на стене написать "Долой Хрущева" или что-нибудь в этом роде. Автору сразу же давали 70-ю статью — антисоветская пропаганда, он уже числился политическим, и его направляли в нашу зону. Но таких было относительно немного. В основном мы встречались с ними в больничной зоне, которая обслуживала и политических и уголовных. В то время у уголовников стало модным делать антисоветские наколки на лбу, на груди и других местах: "Раб СССР", "Долой КПСС", "Смерть Хрущеву" и тому подобное. Их сразу направляли на операцию и в больнице им вырезали целые полосы кожи. Позже, когда это стало массовым явлением, вышел специальный указ, и за антисоветские наколки начали расстреливать. Тогда это увлечение прекратилось.

Среди уголовников было много наркоманов и мазохистов. Использовалось все, что в какой-то мере вызывало возбуждение, новое ощущение. Их фантазия в этом не знала границ. Каким-то образом они раздобывали наркотики и кололись. Они варили и пили чифирь — на кружку воды брали пачку чая, тщательно вываривали его и затем пили по кругу. Получать чай в зоне запрещалось, но они его все-таки приобретали — покупали у вольнонаемных за цену в пять-десять раз дороже, чем в магазине. Зубная паста, зубной эликсир содержит немного алкоголя. Все это разводили водой и выпивали. Одеколон считался деликатесом. Когда кому-нибудь из уголовников в санчасти ставили спиртовой компресс, по выходе за дверь этот компресс сразу высасывался до отказа. Мазохисты глотали буквально все, что им попадалось под руку, как страусы — лишь бы им потом сделали операцию — ложки, вилки, термометры, которые им давали, чтобы измерить температуру, гвозди. Они разбирали сетки от кроватей и глотали их части. Когда их оперировали, то специально вводили минимальные дозы новокаина. Они дико орали от боли, но через некоторое время после операции уже снова скучали по острому ощущению. Они отрезали себе уши, нос, зашивали рот, перерезали вены, наполняя миску своей кровью, и так плелись на вахту. Они пришивали себе пуговицы к коже двумя рядами, как на

мундире. Один такой, находясь в карцере, прибил гвоздями мошонку к полу с одной стороны и к двери с другой. После этого он стал яростно барабанить кулаком в дверь. Прибежал надзиратель, заглянул в кормушку и увидел эту картину. Позвали врача из санчасти, и они долго думали, как извлечь его из карцера. Ничего другого не оставалось, как дернуть дверь. Мазохиста, истекающего кровью, увезли в больницу. Это были монстры, изуродованные духовно, психически и физически.

Жизнь в лагере на строгом режиме стала намного суровее. Если раньше хлеба хватало, то сейчас каждый собирал хлеб и сушил его на железной печурке про запас. Раньше, если кто-нибудь не получал посылок, он мог достать в столовой еще супа или каши. А сейчас каждый доедал свою порцию до дна, а пайку оставлял на потом. Вся атмосфера стала тягостнее. Люди стали злее, больше стало ссор и драк.

Общее положение, если сравнивать со сталинскими временами, характеризовалось внешним соблюдением законности, то есть произвол администрации был введен в определенные рамки. Если раньше любой начальник мог просто не выдать посылку заключенному без объяснения, то сейчас, когда он не давал разрешения на ее получение, он это как-то обосновывал. При желании это было нетрудно — или норма не выполнена, или разговаривал непочтительно с начальством, или не был на политзанятиях, или еще что-нибудь. Если раньше могли заточить в карцер на сколько заблагорассудится кому-нибудь из начальства, то сейчас начальник мог выписать постановление в карцер лишь на 15 суток, затем выпустить и дать еще 15 суток, а если захочет, осудить на год в знаменитую закрытку во Владимире. Раньше могли избить заключенного открыто, а сейчас это делалось вдали от посторонних глаз, и чтобы следов не осталось. Применялись также самосжимающиеся наручники, смирительная рубашка, холодный карцер, но все это в рамках закона, надо было лишь оформить соответствующее постановление. Заключенному от этой "законности" было не легче. Однажды прибыл какой-то генерал из Московского Управления. На различные требования заключенных он возмущенно заорал: "Да что вы жалуетесь, что вы ноете, посмотрите, в каких условиях вы находитесь. Вы находитесь

в современной зоне, у вас есть право на труд и на зарплату, вы получаете трехразовое питание, вам дают мясо, жиры, сахар, у вас в зоне есть магазин, вам разрешена переписка с родными" и так далее. Формально он был прав. Но если вникнуть в каждый из перечисленных пунктов, то выяснилось бы, что это просто — насмешка и издевательство.

По существу, как и в прошлые времена, Россия существовала за счет рабского труда. За пайку хлеба и черпак баланды работали на заводах, строили железные дороги и валили лес, работали на шахтах и рыли котлованы, делали самую тяжелую работу великих строек коммунизма. Весь Север и Восток были освоены советскими рабами. В результате весь Север и Восток усеяны миллионами человеческих скелетов, миллионами безымянных могил. В этом рабском труде смыкаются две социалистические системы, доведенные до своего логического совершенства — красная и коричневая. Была даже взаимная преемственность. Еще до введения строгого режима некоторых заключенных выводили в бесконвойку, то есть они жили в отдельном бараке, уходили и приходили с работы без конвоя. Заключенный чувствовал себя относительно свободным. Когда я спросил у своего начальника отряда, почему меня не выводят на бесконвойку, он мне ответил: "По режимным соображениям". Я стал выяснять, в чем же дело, и в конце концов узнал, что у меня в личном деле была соответствующая полоса, такие полосы были на делах тех заключенных, которые пытались бежать или же готовились к побегу. Таких заключенных, действительно, на бесконвойку не пускали. Я бежать никогда не пытался и очень хотел узнать, откуда у них такие подозрения. Через некоторое время пришел новый начальник отряда, по неопытности проговорившийся. Оказывается, в моем деле лежала довольно подробная биография, в которой между прочим было сказано, что во время войны я находился в минском гетто и сбежал оттуда. Это было для них достаточным основанием, чтобы сделать соответствующую пометку на моем деле. Когда же я потом спросил у начальника лагеря, как же можно сравнивать советские лагеря с немецкими, то он мне ответил, что лагеря-то разные, но если вы сбежали из немецкого лагеря, то это уже говорит о вашем характере, о том, что вы не хотите примириться с теми

ограничениями, которые на вас накладывают, что вы по натуре бунтарь, и мы, естественно, должны это учитывать.

Мы прилагали огромные усилия для получения информации, духовной пищи. Несмотря на жесткие ограничения строгого режима, нам это иногда удавалось. Официально кроме ограниченного количества советской прессы нам читать ничего не давали. Иногда даже отдельные экземпляры советских изданий, если в них оказывался материал, который по мнению начальства мешал воспитательной работе, изымали. Например, когда напечатали в "Новом мире" "Один день Ивана Денисовича", этот номер журнала тотчас же изъяли. Зам. начальника по политчасти был тогда вне себя от ярости. Он возмущался: "Как могли напечатать такую блевотину, такое грубое извращение советской действительности?" Однажды он среди группы заключенных всячески поносил Солженицына. Он говорил, что если бы это зависело от него, он бы его давно запрятал в 10-ю зону (зона с особым режимом). Он возмущался клеветой Солженицына на наши органы. Тут как раз подошел я, услышав еще издали этот разговор. Он сходу обратился ко мне: "Правильно я говорю, Рубин?" — Я ему спокойно сказал: "Неча на зеркало пенять, коли рожа крива". Он не понял, но назавтра вызвал меня и говорит: "Вы думаете, я тогда не понял, что вы имеете в виду?" И тут же продемонстрировал свою эрудицию, назвав автора и басню. Затем, сказав, что он со мной еще поговорит, отпустил меня. Но дня через два я попал на этап и больше его уже не видел.

Мы получали бандероли. В бандеролях были газеты, журналы и книги на иностранных языках, но, конечно, советского издания. Цензоры знали только русский язык, и то не очень хорошо. На всех иностранных изданиях они читали на обратной стороне название книги или журнала по-русски. Иногда между этими изданиями отправителю удавалось вложить в бандероль нечто крамольное. Иногда в обложку журнала "Новое время" на английском языке вставляли даже страницы из "Тайм" или "Лайф", и — проходило. Многие специально изучали польский язык, чтобы читать польскую прессу, так как в то время в Польше печатались вещи, которые в советской печати не могли появиться. С информацией с еврейской улицы обстояло

особенно плохо. Советских изданий не было, а израильские и еврейские издания из других стран получить мы не могли, да и посылать их было некому. Приходилось выискивать и собирать все, что появлялось в прессе на еврейскую тему. Каждая статья или заметка, в которой хоть в какой-то мере затрагивался еврейский вопрос, представляла для нас огромную ценность. Каждый из нас, что-то вычитавший, передавал это другому, пересылали этапами в другие зоны; так мы делились крохами, пополнявшими наши знания.

Экзодус

У нас в лагере был русский писатель, которому разрешили получать литературу из дома, такую литературу, которую нам, обычным заключенным, не разрешали. Он писал какую-то Лениниану, и поэтому ему было сделано такое исключение. Он дружил со многими евреями и был одним из немногих, кто защищал евреев от постоянных антисемитских нападков. Однажды он мне говорит: "Знаете, Толя, у меня вот есть книга на английском языке, "Экзодус" называется. Здесь об Израиле и вообще на еврейскую тему. Возьмите, почитайте, вас она наверняка заинтересует". Английский язык я знал плохо, но достаточно, чтобы понять, какой клад я нашел. Среди нас были евреи, свободно владевшие английским. Мы сразу же организовались и начали коллективно читать, прячась в укромном месте. Через три дня книга была прочитана. Трудно передать, как она потрясла нас. В Израиле сейчас к ней относятся по-разному. Здесь, где имеется масса подобной литературы, это понятно. Но нужно представить себе наши лагерные условия, когда мы выискивали каждое еврейское слово в газете или журнале, когда мы так жаждали какой-нибудь информации сб Израиле — и вдруг такое сокровище! Я ни за что не хотел расстаться с ней и решил выпросить эту книгу у хозяина. К моему удивлению, он мне охотно ее подарил. Радости моей не было предела, я не знал, как его отблагодарить. И сейчас я испытываю к нему горячую благодарность. Прежде всего я решил эту книгу закамouflировать, чтобы ее не опознали

при обысках. Мой приятель, когда-то окончивший курс переплетчиков, мастерски вклеил ее в обложку советской книги. При многочисленных обысках надзиратели брали ее в руки, переворачивали и на задней стороне обложки, а также на последней странице читали по-русски: "Английские рассказы", учебное пособие для студентов. Это их удовлетворяло. Книга находилась в стопке других книг на английском языке, но уже с соответствующим названию содержанием. Книга переходила из рук в руки, читали ее коллективно и в одиночку, читали евреи и неевреи. Я перевозил ее из зоны в зону, и всюду ею зачитывались. Однажды начальство пронюхало об ее существовании, но, очевидно, им не было известно, кому она принадлежит и где находится. Они устроили выборочный обыск, не нашли, и так пронесло. Я знал, что если ее у меня обнаружат, то получу второй, дополнительный срок. Кроме того, меня как рецидивиста переведут на особый режим. Но книга была такой ценной, что стоила этого риска. Когда меня позже перевели в 7-ю зону, то там один из евреев, который знал английский язык, правда, далеко не в совершенстве, решил перевести эту книгу на русский. Труд этот был кропотливый и далеко не безопасный. Но при помощи всяких уловок, прячась от надзирателей, он эту книгу в конце концов перевел и даже переправил на волю. Так еще в 1962 году эта чудесная книга, сыгравшая большую роль в пробуждении национального самосознания евреев России, была впервые переведена на русский язык в советском концлагере.

Меня еще несколько раз перебрасывали из зоны в зону, снова перевели в 11-й лагпункт, из 11-го в 7-ой, и опять в 11-й, и снова в 3-й. Часть молодежи уже освободилась по отбытии срока, но на их место прибывало свежее пополнение. Люди по-прежнему писали жалобы на приговор, на режим, но все это наталкивалось на глухую стену бюрократического равнодушия. Одной из форм протеста были голодовки. Самое ужасное было в этих голодовках то, что о них почти никто не знал. Связи с Западом не было, и знал о голодовках только узкий круг друзей и знакомых. Голодающие не чувствовали той моральной поддержки международной общественности, которая имеется теперь. Я видел людей, которые голодали по 5–6 месяцев – это были живые трупы,

они не могли ходить, так как ноги у них были полностью атрофированы. Порядок объявления голодовки был следующий. Когда какой-нибудь заключенный заявлял администрации, что он объявляет голодовку, его сажали в карцер. Надзиратель, формально выполняя свой долг, предлагал ему ежедневно его паек. Голодающий отказывался, и пищу уносили. Так продолжалось 3 дня. На четвертый день приходили 2 надзирателя и санитар, приносили какую-то жидкую массу, воронку, шланг и металлический роторазжиматель. Ему скручивали руки, роторазжимателем раскрывали рот, вставляли резиновый шланг и через воронку вливали питательную жидкость. Так продолжалось изо дня в день, из месяца в месяц. В дальнейшем голодающий настолько ослабевал, что он уже не сопротивлялся, и с этой процедурой справлялся один санитар. Иногда приходил начальник режима, прокурор по надзору, уговаривали, угрожали. Иногда прибегали к обману, обещая выполнить просьбу голодающего, но как только он прекращал голодовку, его сразу сплавляли в другой лагерь и умывали руки. Многие потеряли здоровье, стали инвалидами от таких марафонских голодовок, но ничего не добились. Не добились только потому, что не было никакой реакции со стороны международной общественности. Люди голодали, страдали, гибли, борясь за элементарные человеческие права, а мир равнодушно молчал.

Жиды – они ведь все-таки тоже люди

В начале 60-х годов вышел новый указ – предельный срок заключения был определен в 15 лет вместо 25. В то время еще сидели отпетые убийцы и насильники, на счету которых были сотни и тысячи жертв. Они были главной опорой лагерной администрации, принимали активное участие в общественной жизни лагеря, хорошо работали, и лагерное начальство ходатайствовало о снижении им срока в соответствии с новым указом. А так как они в большинстве своем уже отсидели по 16–17 лет, то их сразу же после суда освобождали. Из Куйбышева приезжала тройка военного

трибунала, и в помещении столовой устраивали открытый суд, чтобы все заключенные могли увидеть, как за примерное поведение и хорошую работу снимают сроки. Нас этот указ не касался, так как по нашей статье предельный срок был 7 лет. В столовой было всегда полно любопытных. Начальник отряда заранее оформлял дело на того или иного заключенного для предстоящего суда. Составляли положительную характеристику, в которой отмечались все его достоинства и заслуги перед администрацией на протяжении долгих лет его заключения. На суде кто-нибудь из администрации ходатайствовал перед трибуналом следующим образом: такой-то за время пребывания в местах заключения показал себя хорошим работником, исполнительным, принимал активное участие в общественной жизни лагеря, был в рядах охраны общественного порядка, участвовал в самодеятельности, писал заметки в лагерной газете, кроме того, помогал администрации в разоблачении всяких разгильдяев, отказчиков от работы, чифиристов и антисоветчиков. Заключенный такой-то искренне встал на путь исправления. Мы просим суд снизить ему срок заключения в соответствии с новым указом, и мы убеждены, что он будет достойным советским человеком. А на совести этого "достойного советского человека" были сотни убитых и замученных детей, стариков и женщин. Как правило, суд удовлетворял ходатайство администрации и тут же освобождал его из-под стражи.

Для этого суда убийство одного нееврея считалось более тяжким преступлением, чем убийство сотен евреев. Убийцы об этом знали и соответственно строили свою защиту. На одном из судов разбиралось дело украинского убийцы и садиста. Это был громила с бычьей шеей, с тупым и злобным лицом. Когда председатель суда, полковник, начал зачитывать его дело, то присутствующих бросило в дрожь, если не считать, конечно, таких же, как и он, убийц. Полковник подробно перечислял все совершенные им "подвиги" в борьбе с женщинами, детьми и стариками. Он лично принимал участие в расстрелах тысяч евреев, он вместе со своими друзьями бросил в колодцы живьем 400 евреев, загонял евреев в газовые камеры и душегубки, насиловал женщин, мозжил грудных детишек о каменную

стену — все это было доказано, и он и сейчас этого не отрицал. На вопрос председателя суда, как же он мог убивать так жестоко детей и женщин, он сказал по-украински: "Та це ж жиды булы". (Так это ведь были евреи!). Но самым потрясающим был ответ председателя суда, полковника юстиции. Он, медленно перелистывая его дело, сказал: "Ну и что ж, жиды? Жиды — они ведь все-таки тоже люди". Сидевшие в зале полицаи расхохотались, удовлетворенные таким ответом советского полковника. А убийцу выпустили, так как он "встал на путь исправления и осознал свои ошибки", как было указано в определении суда.

Люди разных взглядов, идеологий и национальностей проявляли в определенных вопросах солидарность. У всех у нас был общий враг — КГБ.

К сожалению, солидарность проявляла лишь незначительная часть заключенных. Так, группа из двух украинцев и одного русского просила меня помочь другому русскому, нашему общему знакомому, организовать побег через парник. Побег не удался, но никто не раскололся, и нам удалось представить дело так, будто мы отправились воровать овощи. Нам дали по пятнадцать суток карцера, а потом перевели в другую зону, опять в 11-ю. Там меня сразу же определили в аварийную бригаду. Бригада была подобрана из рослых здоровых мужчин, в основном латышей и эстонцев. Работа в аварийной бригаде состояла в следующем: в любое время суток, когда прибывал железнодорожный состав, груженный строительными материалами, нас сразу же бросали на его разгрузку. Привозили лес, камни, кирпичи, цемент, каменный уголь. Кирпич, уголь, камни перевозили в вагонах, разделенных на отсеки. При разгрузке каждый получал свой отсек и должен был выгрузить его вовремя, чтобы не задерживать других. Лес и цемент разгружали сообща, но устраивали так, что из-за отстающего страдала вся бригада. Я справлялся с работой не хуже профессионального рабочего. Никогда не забывал, кто я, и понимал, что если я буду отставать, то наверняка скажут, что я еврей и поэтому не могу и не хочу работать. На лесоповале у меня был принцип — никогда не просить напарника остановиться отдохнуть. Каким бы толстым дерево ни было и как бы тяжело и долго ни приходилось его

пилить, я продолжал тянуть пилу, пока напарник сам не попросит остановиться на перекур. Мое положение осложнялось тем, что я часто страдал приступами мигрени. Как бы эти приступы меня ни мучили, санчасть не освобождала от работы. В такие дни приходилось особенно трудно, так как никто считаться с моей болезнью не хотел.

Шел 1964 год, последний год моего заключения. Я стал уже считать оставшиеся не годы, а месяцы. Но сейчас и месяцы тянулись долго, как годы. До последнего года я физически держался хорошо. Умывался ледяной водой по пояс, натирался снегом, закалился и никогда не болел. Но в конце срока сопротивляемость организма резко снизилась. Сказался голодный паек, тяжелый труд, постоянное нервное напряжение. Всю весну 1964 года я работал на улице, кругом стояли лужи талой воды. Сапоги были рваные, и ноги постоянно хлюпали в ледяной воде. У меня появились сильные боли в ногах. Бывали ночи, когда я из-за них не мог уснуть. Примитивное лагерное лечение не помогало, и болезнь приняла хроническую форму. Я ждал уже с нетерпением своего звонка, то есть конца срока. Но в это время произошел очередной инцидент. К нам в зону прибыла группа новеньких заключенных из Ленинграда. Все они проповедовали славянофильство, но это их дело, и я к ним относился ровно, как и к другим подобным группировкам. Но однажды в рабочей зоне один из них разошелся и начал поносить Израиль и сионизм, пользуясь всеми штампами советской пропаганды. Я подошел к нему выяснить, в чем дело, что привело его в такое бешенство. Тогда он набросился на меня: "Я знаю, ты сионист! Вы издеваетесь над арабами! Вы хуже фашистов!" и все в том же духе. Разумеется, спорить с ним было бесполезно, так как язык логики и фактов был ему непонятен. Оставалось прибегнуть к другому методу убеждения. Когда прибежали другие заключенные и оттащили меня от него, он сразу же побежал на вахту. Пришел надзиратель и отвел меня в другую зону. Вечером меня вызвали на вахту и предъявили постановление на 10 суток карцера. К постановлению было приложено его заявление о том, что он подвергся нападению сиониста, и справка от врача о его кровоподтеках, сломанном зубе и о чем-то еще.

Раньше карцер находился за зоной, и туда приводили заключенных из всех прилегающих зон. Сейчас же у нас в зоне только что окончили строительство новенького карцера, и мне была оказана честь открыть его. В карцере меня раздели догола, забрали всю мою одежду, а взамен дали старые брюки и куртку. Телогрейку взять с собой не разрешили. Внутри карцера было ужасно холодно и сыро. На его грязно-серых стенах стояли капли воды. Меня заперли в одиночку. Камера была два метра в длину и полтора в ширину. К сырой стене был приделан и закрыт на большой замок деревянный щит, который служил нарами. В 11 часов вечера его опускали, а в 6 утра снова поднимали и запирали на замок. Посреди нар проходили две толстые железные шины вдоль и поперек, наверное, для мягкости. Кроме этих нар в камере не было ничего. Весь день приходилось сидеть на холодном и сыром цементном полу, пока конечности не окоченивали, а затем подыматься, бегать, прыгать на месте, чтобы как-то согреться. Это было в апреле. Стояли еще холода. Когда наступала ночь, становилось и того хуже — ночью были заморозки. Больше часа лежать на нарах с железными шинами и при жутком холоде нельзя было. Приходилось вскакивать и опять заниматься зарядкой, чтобы как-то согреться и выпрямить окоченевшее тело. Когда я обессиливал от прыжков и бега на месте, я снова валился на нары и сворачивался калачиком, чтобы подольше сохранить тепло. Горячую пищу давали через день. В один день давали хлеб, черпак супа, селедку и кипяток, на следующий — лишь кусок хлеба и кружку кипятка. Так проходил день за днем. Когда я вышел из карцера, вид у меня был как после тяжелой продолжительной болезни. Но пережил и это. Пока я сидел в карцере, битый славянофил попросил перевести его в другую зону, боясь мести. Когда я освободился, его уже в нашей зоне не было.

Нация воров, жуликов и махинаторов

В это время в лагерях было полно новых заключенных, и КГБ спохватился, что опять перегнул палку. На сей раз они решили освободить некоторую часть заключенных иным

способом. Когда раньше заключенных освобождали по жалобам, то этим самым признавалось, что приговор был слишком суров и несправедлив. Сейчас же они решили освободить тех, кому осталось досиживать уже немного, сохранив таким образом свою честь. Приезжали в зону представители КГБ из центрального аппарата, вызывали некоторых заключенных и предлагали им писать просьбу о помиловании. Этим самым заключенный как бы признавал себя виновным, а значит и осужденным справедливо; а представители КГБ и суда выглядели людьми гуманными и милосердными. Мне оставалось досидеть считанные месяцы. Вызвали и меня. Начали с общих бесед о настроении, о работе, а потом перешли к конкретному предложению. "Вы, — говорят они, — совершили тяжкое преступление. Но советская власть не мстит, а лишь старается человеку помочь встать на правильный путь и осознать свои ошибки. Вы отсидели уже более пяти лет. Мы полагаем, что если вы напишете просьбу о помиловании, в которой искренне изложите свои заблуждения, то соответствующие советские органы примут это к сведению и ограничатся отсиженным вами сроком". Я им ответил: "Если бы вы прочитали мое дело более внимательно, то вы бы поняли, что коль скоро я не признавал себя виновным на суде и в начале своего срока и во всех своих жалобах обвинял не себя, а органы следствия и суда, то уговаривать меня принять сейчас это смехотворное предложение — пустая трата времени". Они начали снова обвинять меня. Вы, мол, и сейчас не осознали свое преступление, учтите, мол, что при подобных взглядах и настроениях вам из лагеря не выйти. Затем они перешли к сути моего дела, увязывая его с текущими событиями. Один из них говорит: "Вот вы обвиняли советскую власть, весь русский народ в антисемитизме. Вот посмотрите, сейчас (это был период экономических процессов в стране) в газетах пишут об экономических процессах, и там постоянно фигурируют евреи, а русских там единицы. Они и валютчики, они и воры, они и жулики, и спекулянты. Так какое же может сложиться мнение у русского народа о евреях?" — И сам же ответил: "Что евреи — это нация воров, жуликов и махинаторов". На это я ему сказал: "Если следовать вашей логике, то посмотрите — в соседней зоне, зоне уголовников, где сидят

убийцы, бандиты, грабители, там в основном сидят русские, евреев там единицы. И какое впечатление может сложиться о русских у других народов? Что русские — это нация убийц, бандитов, насильников. Я так не считаю, но ваш метод оценки других народов приводит именно к этому заключению". Этим я задел их достоинство великороссов. "Вы опять клевете на русский народ, народ, который вас кормит, дал вам приют, спас от полного физического уничтожения, а вы — неблагодарная..." и еле удержался от продолжения. Это была моя первая и последняя встреча с кагебистами за все шесть лет лагеря. Через некоторое время нас опять уже в который раз перевели на 3-й лагпункт. Время тянулось мучительно долго. В своем карманном календарике я ежедневно зачеркивал еще один день.

Однажды октябрьским утром неожиданно по радио объявили о снятии со всех постов Хрущева. Администрация лагеря была совершенно растеряна. Начальники избегали встреч с заключенными, так как еще не знали, что отвечать на вопросы. Ждали указаний сверху. Замначальника лагеря по политчасти вообще три дня не появлялся в зоне. У многих заключенных появились иллюзии, что что-то изменится и они будут освобождены. Распускались разные слухи — "параши". Эти параши витали в зонах постоянно. И чем больше срок был у заключенного, тем больше он склонен был верить слухам. Он хотел верить им, так как лишь они давали ему призрачную надежду на быстрое освобождение. Но параши приходили и уходили, а заключенный оставался сидеть.

Мой срок подходил к концу. Я считал уже последние дни. Зачеркнутые в календарике числа все ближе подходили к заветному 8 декабря. 7 декабря друзья организовали мои проводы. Каждый принес все, что у него было, и устроили общий ужин. Нажарили черный хлеб на подсолнечном масле, напекли картошки, сварили кофе, у кого-то нашлась банка джема, и ужин в лагерном понимании получился на славу. Мы обменялись адресами и договорились о продолжении наших связей в будущем. 8 декабря утром меня вызвали на вахту с вещами, так как надзиратели хотели успеть обыскать меня еще до отхода поезда. Обыск был более чем тщательный. Все бумаги, книги были перебраны, меня

раздели догола и тщательно обыскали каждый шов одежды. Но опыт у нас уже был достаточный, и все, что надо было пронести, было пронесено. После обыска меня начали торопить одеваться и складывать свои вещи, чтобы я успел на поезд. Когда я переступил зону и шагнул на свободу, я еще не совсем ощутил и подавно не осознал той перемены, которая произошла.

Через дорогу находилась рабочая зона, и мои друзья стояли на высоких штабелях леса и махали мне руками. Я помахал им в ответ, и как-то особенно остро почувствовал их положение. Ощутил, что всего лишь несколько шагов отделяют меня от того мира, где я провел 6 лет, 6 лет от звонка до звонка. Мне было больно, что мои друзья не со мной. Они остались в малой зоне досиживать свой срок. Итак, я очутился в большой зоне.

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ НА "РОДНОЙ" ЗЕМЛЕ

Новые друзья

В Минск я поехал через Москву. В каждом несчастье есть доля счастья. Благодаря лагерю у меня появилось много друзей и в Москве, и в Ленинграде, и в Киеве, и в Риге, и в других городах. Находясь еще в лагере, я поддерживал связь со многими из тех, кто освободился раньше меня. В Москве я сразу оказался в кругу своих лагерных друзей. Резкий переход от лагерного существования к шумной жизни в Москве меня несколько ошеломил. Меня водили в разные компании, в рестораны, на киностудию, где просматривали кинофильмы, не предназначенные для общего экрана. Я был еще как-то скован и не мог сразу переварить всю эту массу новых впечатлений. Четыре дня в Москве пролетели миготом. Все виденное мною вращалось перед глазами, как в калейдоскопе. На пятый день я уехал в Минск. В Минске я пробыл один день и сразу же уехал в Ригу, где меня тоже ждали лагерные друзья. Там я окунулся уже в чисто еврейскую атмосферу. Собиралась еврейская молодежь, устраивали вечера, на которых пели еврейские песни и танцевали еврейские танцы. Ходили в синагогу, ездили в Румбуле, где были расстреляны рижские евреи во время немецкой

оккупации и где впоследствии местные евреи, вопреки запрету местных властей, установили памятники. Позже Румбуле стало местом массового паломничества евреев со всех концов России.

В Риге я познакомился со многими еврейскими активистами. Я жадно впитывал новости об Израиле, по которым так соскучился в лагере. Погостив несколько дней, я собрался ехать обратно в Минск, где мне надо было оформить прописку, устроиться на работу и уладить еще ряд дел. Набрал сколько можно было еврейской литературы, я отправился на вокзал. Меня провожали мои друзья. Но на вокзале я заметил, что провожают меня не только друзья. Я это учел и, попрощавшись, сел в вагон. В Риге я сел в седьмой вагон. Я уже знал, что если меня провожали представители КГБ, то в Минске они обязательно меня будут встречать. Не доезжая до Минска, я перешел в тринадцатый вагон — мне было интересно, что они будут делать. На вокзале в Минске я вышел из вагона и сразу пошел домой. Меня же, очевидно, ждали у седьмого вагона, и для них я непонятным образом исчез. Они решили выяснить, приехал ли я домой или же застрял где-нибудь по дороге. Через час после того как я пришел домой, явился тип в гражданском и представился работником милиции. Он спросил у домашних, где я. Я вышел из комнаты и поинтересовался, в чем дело. Он начал что-то лепетать об устройстве на работу, о прописке, но было ясно, что его интересовало лишь, прибыл ли я. Убедившись в этом, он сразу же ушел. На работу меня брать не хотели. В течение двух месяцев я обивал пороги учреждений, но везде под разными предложениями мне отказывали. Руководители, страхуясь, посылали меня в вышестоящие организации или в райкомы партии, чтобы я принес оттуда направление на работу.

Для нас вы не реабилитированы

Примерно через месяц после освобождения я вдруг получаю решение Коллегии Верховного Суда СССР, в котором было сказано, что мое дело пересмотрено, обвинения не доказаны,

и я реабилитирован. Я не поверил своим глазам. Дело в том, что на протяжении трех последних лет заключения я не писал ни одной жалобы — и вдруг реабилитация! Я пошел к своему адвокату, мои друзья, работавшие с ним, выяснили, в чем дело. Оказывается, после того, как сняли Хрущева, начали пересматривать дела, связанные с ним, а так как в моем деле он фигурировал довольно явно, то оно попало на пересмотр. Как известно, ни на следствии, ни на суде обвинение в покушении на Хрущева доказано не было, но, несмотря на это, оно было включено в приговор отдельным пунктом лишь на основании агентурных данных. Сейчас они могли снять это обвинение, не боясь неприятностей. Понятно, что этот пункт о покушении был самым тяжелым. По сравнению с этим остальное — разные книжонки, сионистская пропаганда, встречи с работниками израильского посольства и иностранными туристами уже казались мелочью. В конце концов я был реабилитирован. После этого руководители учреждений могли уже смело брать меня на работу, и я устроился в городскую больницу старшим методистом по лечебной физкультуре. После реабилитации я попытался вернуть себе хотя бы изъятые у меня письма, книги и фотографии.

Я пошел в Верховный Суд СССР, который меня осудил, но там мне сказали, что мое дело хранится в архивах КГБ. В КГБ мне велели написать заявление и ждать вызова. Через несколько дней я получил повестку явиться в приемную КГБ. Там мне велели подождать, и через некоторое время пришел пожилой чекист с папкой в руках. Он раскрыл ее и сказал, что мне могут вернуть лишь небольшую часть фотографий и писем. В ответ на мое возмущение, мол, как же так, если я реабилитирован, то вы обязаны вернуть мне все изъятые вещи, он мне ответил: "Реабилитация эта лишь для вас, чтобы вы могли устроиться на работу, чтобы у вас не было чисто бытовых ограничений. Для нас же вы никогда не будете реабилитированы. С вас снято обвинение в покушении, но остальные пункты ведь остались. Кроме того, по существующему положению, даже если бы вы были и полностью реабилитированы, ваше дело должно храниться у нас вечно. И вообще, что вы так возмущаетесь? Люди по 20 лет зря сидели, и ничего, а вы каких-то 6 лет, и

уже строите из себя какую-то жертву". Когда я устроился на работу, уладил дела с пропиской и военкоматом, я начал присматриваться к окружению.

Минск в национальном отношении невыгодно отличался от таких городов как Москва и Рига. В Москве находилось израильское посольство и с ним можно было поддерживать связь, была большая синагога, где можно было собираться хотя бы по праздникам. В Москве проходили международные фестивали, конгрессы, выставки. В Москву приезжали со всех концов страны в командировки знакомые ребята. Не говоря уже о том, что в Москве жило около полумиллиона евреев. Рига была национальным островком в море ассимилированного еврейства. В Минске же всякое еврейское национальное самосознание и национальное достоинство были варварски уничтожены, а то, что осталось, было загнано в дальний угол и прижато русским сапогом. Но сейчас даже в Минске атмосфера изменилась. Народ начал просыпаться от полувековой спячки. Появился интерес к еврейству, к Израилю. Люди, которые раньше избегали всего национального, начали поворачиваться к нему лицом, особенно молодежь. Это можно назвать чудом. После пятидесятилетнего существования советской власти, которая делала все возможное, чтобы выжечь национальную сущность еврейского народа, у русского еврейства, особенно у молодежи, произошло возрождение национального самосознания. В мироощущении совершенно ассимилированных молодых людей, у которых даже родители были ассимилированы, не получивших никакого национального воспитания, не знающих ни национальных традиций, ни еврейской культуры, ни языка, пробудился дух их далеких предков.

Я не могу сказать, что современная сионистская молодежь Советского Союза является прямым наследником старого сионистского поколения. Наоборот, многие из них — внуки совершивших революцию в России, дети строивших советскую власть. Чем же все это можно объяснить? Сделаем экскурс в недалекое прошлое. В послереволюционный период, когда с евреев был снят ряд ограничений — черта оседлости, процентные нормы и другие, у значительной части еврейства возникли наивные надежды, что с решением социального вопроса сам по себе решится и национальный.

Самое трагичное, что многие из них совершенно искренне верили в это. Это был период вульгарного интернационализма. Еврейство России тогда даже не подозревало, что оно является той временной силой, которая нужна революции лишь до тех пор, пока у нее не появятся свои национальные кадры, после чего оно будет выброшено за борт всякой политической, государственной и общественной жизни страны. Больше того, в последующие годы оно явится громоотводом при различных внутренних кризисах. Многие из них сейчас, на склоне своих лет, это поняли и в частных беседах плачутся: "Кому, за что мы отдали свою жизнь, свои силы, свой талант, получив взамен лишь унижения, оскорбления и бесперспективность для своих детей и внуков?" Но эти старые люди, коммунисты и беспартийные, все же корнями своими были связаны с советской Россией, ибо она была их детищем. Не у каждого хватало мужества порвать с прошлым — ведь это значило перечеркнуть всю свою жизнь. Молодежь была свободна от этого и поэтому решительно повернулась к своему народу, к своему Израилю.

Одной из самых важных причин такого поворота еврейской молодежи является комплекс гражданской неполноценности. В Советском Союзе постоянно проводится широкая пропаганда великодержавного шовинизма. Всячески превозносится русская культура, русская наука, русское искусство, русские спутники. Русский человек — воплощение всех достоинств. И еврейский юноша где-то чувствовал, что к нему это не относится, что он все-таки не русский. О евреях же он знал лишь из антисемитских рассказов и анекдотов, где еврей — всегда карикатурный тип: он и хитер, он и трус, он и слаб, он и жаден, и тому подобное. Такое представление о евреях типично для русских. Желая сделать мне комплимент, они говорили: "Какой же ты еврей? Ты же совершенно не похож на еврея!" На мой вопрос, каким же они представляют себе еврея, они рисовали портрет: "Ну, такой маленький, узкоплечий со впалой грудью" или "толстый, с длинным носом и обязательно картавый". Я приводил им примеры наших общих знакомых, перебирая десяток-другой евреев, не похожих на этот портрет. Тогда они начинали задумываться и соглашались. Но и тут они не сдавались: "Портрет этот все-таки похожий,

но устаревший. До революции евреи были именно такими, и лишь советская действительность их изменила к лучшему". Иными словами, подняла их до уровня русских.

"Они" и "наши"

Еврейская молодежь видела, что у всех народов есть своя история, своя культура, свой язык. Даже самые маленькие народы, насчитывающие несколько десятков тысяч человек, имеют свой язык, свои школы, свою литературу. Евреи же здесь всего этого лишены. (Вся еврейская литература начиналась и кончалась Шолом Алейхемом). Им постоянно напоминали, что русский народ — старший брат малых народов. Всячески давали им почувствовать, что они здесь чужие, что здесь они на правах пасынков, что они нерусские. Даже крупные ученые, ответственные работники, вплоть до министров, у которых в подчинении было много неевреев, даже они среди людей такого же положения постоянно чувствовали этот комплекс. С другой стороны, этот комплекс гражданской неполноценности заставлял евреев быть на голову выше нееврейских коллег, чтобы дать почувствовать, что в них нуждаются. Это могло как-то компенсировать их неуверенность в завтрашнем дне. Все это убеждало еврейскую молодежь, что здесь они не у себя дома, а на правах квартирантов. Они на своей шкуре испытывали известное правило: если украдет русский, то говорят, что украд вор, а если украдет еврей, то говорят, что украд еврей.

Они начали осознавать, что и у евреев есть свое государство, государство, которое одним своим существованием разбило многовековое представление о евреях, которые не хотят работать, не могут воевать, а способны лишь жить паразитами на теле других народов. Они слышали об огромных достижениях этого государства в экономике, культуре, науке и особенно об успехах его армии. Это очень ярко проявилось во время Шестидневной войны. Она послужила катализатором в пробуждении сознания еврейства. Люди привыкли слышать, что евреев бьют, над ними издеваются,

что они трусы, не умеют воевать, и вдруг они услышали противоположное — евреи кого-то бьют, евреи над кем-то издеваются, евреи побеждают, да еще как! И у них появилось, у некоторых подсознательно, чувство национальной гордости. Оказывается, и они народ, как все народы. Они распрямили спину, подняли голову и обратили свои взоры к своей далекой и в то же время ставшей столь близкой родине — Израилю. Помню, накануне Шестидневной войны, когда вся советская пропаганда кричала о готовящейся израильской агрессии, у меня на работе многие ассимилированные евреи возмущались: "Подумай, Толя! Куда они лезут? Чего им надо там? Сидели бы спокойно, пока их не трогают. Ведь их же раздавят, как козявку!" Но через три дня, когда стало известно о полном разгроме египетской авиации и об успехах израильской армии, те же евреи, встречая меня, радостно взволнованным голосом, правда еще с оглядкой, говорили: "Ты слышал, Толя, как там наши дали! Какие молодцы!"

Еврейская молодежь стала задумываться — кто же мы, евреи, такие? Что такое Израиль? Она начала жадно искать всякий материал, откуда можно было бы что-то узнать. Но в Советском Союзе это не так-то легко найти. Литература по еврейской истории, культуре давно уже не издается, а все, что осталось после уничтожения, хранится в центральных библиотеках нескольких городов, и достать это очень трудно. Кроме того, малейшее проявление интереса к еврейству вызывает подозрение. Все, что у русского, украинца, литовца или грузина называется чувством национальной гордости, национального самосознания, для еврея квалифицируется как буржуазный национализм. Несмотря на это, еврейская молодежь перебирала горы старой литературы. Читали и переводили статьи и заметки из левой зарубежной прессы, что удавалось достать. Регулярно слушали радиопередачи из-за рубежа — Би-Би-Си, Голос Америки и, конечно, Кол Исраэль. Эти радиопередачи часто глушат и слушать их приходится рано утром или поздно ночью. Чтобы можно было слушать Голос Израиля, приходилось переделывать радиоприемник, так как начиная с 1960 года в советских радиоприемниках многих марок была пропущена волна, на которой вел передачи Кол

Исраэль. Очень популярны стали среди еврейской молодежи еврейские песни и танцы. Если кто-либо доставал пластинку с еврейскими песнями, то ее сразу же переписывали на магнитофонную ленту. Эта лента передавалась другим для переписки и в короткое время распространялась в сотнях экземпляров во многих городах. Еврейская молодежь разгуливала по городу с портативными магнитофонами, из которых громко звучали еврейские мелодии. Нужно знать Советский Союз, его атмосферу в недалеком прошлом, чтобы по-настоящему оценить это. Для большинства это было не просто увлечение — это стало смыслом их жизни. Целью нашей было донести до еврейской молодежи правду о своем народе, правду об Израиле. И противопоставить эту правду грязным потокам официальной пропаганды. Мы стремились пробудить в ассимилированных евреях чувство национального достоинства, чувство национальной гордости и в конечном итоге подготовить их к возвращению на свою историческую родину — Израиль. Каждая вещь, которая попадала к нам из Израиля, какая-нибудь незначительная безделушка, приобретала символический характер, являлась чем-то священным. Однажды я достал пачку израильских сигарет, и мы в своей компании курили одну сигарету, пуская ее по кругу. Я привез с фестиваля бутылку израильского вина Кармель, и его пили чисто символическими дозами, а когда оно кончилось, наливали в эту бутылку обыкновенное вино и ставили в центре стола как украшение.

Есть авангард. Это люди, которые целиком отдали себя делу национального возрождения. Они готовы пройти тюрьмы и лагеря, лишь бы обрести свою родину. Это выкристаллизовавшееся острое пробило брешь в железном занавесе Советской России.

В значительной части евреи, которые хотят уехать, еще не рискуют потерять то, что у них есть, и ждут более подходящего момента, когда после подачи документов им будет гарантирован выезд. У многих из них семьи, дети, и они сравнительно неплохо устроены. Боязнь обречь свою семью на нужду и страдание заставляет их пока воздерживаться от активной деятельности.

Есть евреи, которые находятся лишь в стадии национального пробуждения, их позиции еще не сформировались.

Есть, как и в каждом народе, люди беспринципные, приспособленцы, для которых не существует ничего святого. Все их помыслы, вся энергия сфокусированы на своем "я" — как бы лучше пристроиться, приспособиться и обеспечить свое благополучие. Их принцип — беспринципность.

Важную роль в пробуждении национального самосознания евреев играет советский государственный антисемитизм. Он, собственно, никогда не исчезал в Советском Союзе. Он менял лишь свои формы в зависимости от исторической обстановки. Ленин и Сталин были прежде всего революционеры-практики. В послереволюционный период, когда основная масса русской интеллигенции и русского чиновничества эмигрировала или была уничтожена, евреи по сравнению с отсталым безграмотным русским крестьянством являлись образованной и прогрессивной прослойкой. Кроме того, многие евреи, находясь под двойным — социальным и национальным — гнетом в царской России, видели в революции единственный выход из своего крайне тяжелого положения. Поэтому они были столь активны в революционном движении. Но как только в них отпала необходимость, их начали вытеснять под различными предлогами. В дальнейшем антисемитизм стал проявляться в более открытой и грубой форме. Многие правила и приличия были отброшены. Антисемитская пропаганда, явная и тайная, проводится в самых широких масштабах. Для этого используются как официальные средства пропаганды, так и аппарат распускания антисемитских слухов и инсинуаций. Если в печати говорится о каком-нибудь герое, крупном ученом или известном деятеле искусства еврее, то скрывается его происхождение. Это советский герой, советский ученый, советский деятель искусства. Но зато стоит попасть еврею в печать за какие-нибудь грехи, как здесь уже советская пропаганда из кожи лезет вон, чтобы подчеркнуть его еврейское происхождение. Если его фамилия и имя не типично еврейские, то обязательно будет назван какой-нибудь его родственник, у которого характерное имя. Периодически проводятся широкие антисемитские кампании под разными девизами: борьба с космополитизмом, борьба с

валютчиками, с сионизмом, но сущность их одна: борьба с еврейством и разжигание антисемитских страстей. Понятно, если на знамени государства начертано "равенство, братство, интернационализм", то оно не может проводить открыто свою антисемитскую политику под лозунгом "Бей жидов, спасай Россию!" Поэтому они прибегают к другим девизам. Но ведь даже небезызвестный Пуришкевич проводил свою антисемитскую борьбу под лозунгом борьбы с инородцами. Планомерная работа гигантского пропагандистского аппарата дала свои результаты. Можно с уверенностью сказать, что большинство населения Советского Союза заражено антисемитской бациллой. Это проявляется по-разному в зависимости от обстоятельств и личности.

Антисемитизм можно условно разделить на три вида. Первый — это животный антисемитизм, когда уже еврейский профиль или еврейская фамилия вызывают лютую ненависть и стремление к физической расправе; второй — антисемитизм тех, кто занимают ответственные посты и являются носителями официальной политики правительства. Они противники физической расправы над евреями, они против погромов и грубой антисемитской пропаганды по гитлеровскому образцу, так как это прежде всего невыгодно для Советского Союза. Но они твердо убеждены, что евреев надо держать в ежовых рукавицах, что евреи должны работать на Россию, на русскую науку, на русскую культуру. Евреи должны быть слугами России, отдавать ей все свои силы, весь свой талант, не получая как нация взамен ничего. Они считают, что евреям доверять нельзя, и они должны быть под постоянным контролем. Еврей может быть замом, помом, но только не первым лицом. Третий вид — антисемитизм масс, которых не интересует ни политика, ни социальные вопросы. У них одна забота — как получше устроиться, как побольше заработать, получить квартиру, выпить. Но при случае, если бьют еврея, они с удовольствием приложат к этому руку. У них сразу срабатывает инстинкт извечной ненависти к жидам. Особенно ярко это проявилось на оккупированных немцами территориях. В зависимости от среды еврей сталкивается с одним из этих видов антисемитизма. Сталкивается всегда, хотя некоторые евреи пытаются этого не замечать.

Часто еврейские ученые пишут доклады для русских, которые ездят на международные конгрессы. Для получения Государственной или Ленинской премии еврейский ученый нередко привлекает в соавторы русского только потому, что легче будет "протолкнуть" свой труд.

Особенно я интересовался еврейской молодежью. У меня появился новый круг друзей и знакомых. Я знал, что за мной следят, и мне не раз давали это почувствовать. Я не имел права подвергать опасности ребят, которые еще не были запятнаны в глазах КГБ. У меня уже был некоторый опыт конспирации, я прошел хорошую школу следствия, суда и лагеря. Поэтому я намеренно не создавал большие группы, не знакомил людей друг с другом и не хотел, чтобы все, кто был связан с моими друзьями, знали меня. У меня были ребята, с которыми я общался, снабжал их литературой, информационным материалом, а они, в свою очередь, распространяли его в своем кругу. Прежде чем дать им что-либо, я всегда их инструктировал, как вести себя в случае провала, рассказывал о методах допроса. Я советовал им инструктировать своих друзей, прежде чем давать им что-нибудь "крамольное". Дальнейшее показало, что благодаря такой профилактике я и другие ребята избежали тюрьмы. Литература распространялась по "молекулярной системе". Бывало, мне под большим секретом предлагали дать почитать одну из моих книжонок. Некоторым можно было сразу давать израильскую литературу, Жаботинского — они уже были подготовлены к этому, другие же вначале боялись брать что-либо израильское — они еще не освободились от страха прикоснуться к иностранному, но уже проявляли интерес к еврейству, его истории, его культуре. К ним я приходил с магнитофоном и записями еврейских песен. Некоторые израильские песни были популярны не только среди еврейской молодежи — их исполняли даже на открытых эстрадах, например "Тум балалайка", "Хава нагила". Интерес молодежи ко всему еврейскому с каждым днем рос. Позже они сами приходили ко мне и просили дать что-либо почитать об Израиле, просили рассказать последние новости. Особенной популярностью пользовался у молодежи Жаботинский. Его фельетоны, написанные более полувека назад, были настолько актуальны, что казалось, будто они написа-

ны вчера. Их размножали разными способами и широко распространяли. Сам облик Жаботинского, политического деятеля и писателя, публициста и солдата, его мужество и прямота, его беспредельная преданность сионизму вызывали всеобщее восхищение и гордость. Мы гордились, что являемся его соплеменниками.

Для приобретения нужного материала часто приходилось ездить в другие города, где у меня были лагерные друзья. Иногда для того, чтобы поехать куда-нибудь, мне приходилось сдавать кровь в качестве донора. Это давало мне два дня отпуска в дополнение к выходному дню. Литература была разная — журнал "Шалом", календари, израильские справочники, карты, проспекты израильских выставок, кинофестивалей, самиздатовские вещи. Иногда доставали зарубежные издания с еврейской тематикой. Например, сразу же после Шестидневной войны я достал французский журнал "Экспресс", посвященный Шестидневной войне. Все статьи были переведены на русский язык, размножены и распространены, а с обложки было переснято огромное число фотографий Даяна.

Грозит третья посадка

У меня был хороший знакомый, в прошлом крупный инженер-энергетик, а сейчас пенсионер. Он жил еврейством, отдавал свое время пропаганде сионизма, хотя его семейная обстановка не благоприятствовала этому. Мы с ним часто встречались, обменивались информацией и литературой. Но его засекли, и за ним началась слежка. Однажды он дал какой-то машинистке перепечатать материалы о Шестидневной войне, которые я ему принес. Этот материал был у нее похищен, как позже оказалось, агентами КГБ. Через несколько дней я поехал в Ригу к своим друзьям. Я узнал, что некоторых из них вызывали в КГБ, допрашивали и расспрашивали о многих, в том числе и обо мне. Я решил сократить свой визит и сразу же вернуться в Минск, чтобы предупредить ребят и убрать из дома все, что могло бы служить вещественным доказательством для обвинения. Когда я

вернулся домой, я сразу же позвонил одному из ребят, чтобы предупредить о случившемся и предложить ему принять некоторые меры предосторожности. Не успел я ему изложить все это, как он меня ошарашил новостью, что арестовали моего пожилого знакомого. Я с ним тут же договорился о конспиративной встрече в тот же вечер. Звонил я, конечно, не с домашнего телефона и не ему домой. Я сразу же поехал к себе. У меня скопилось много книг, журналов, самиздата — все это надо было немедленно убрать из дому. Но как и когда-то, рука у меня не подымалась что-либо уничтожить — слишком свято это было для меня, слишком дорого мне это стоило. У меня были знакомые, общение с которыми я сводил до минимума и держал их на всякий случай, в резерве. Здесь они мне весьмагодились. Это были люди абсолютно честные, которым я полностью доверял. Я позвонил им, они пришли в больницу, где я работал, и там, соблюдая все меры предосторожности, я им передавал эту литературу. При этом я их предупредил, как вести себя, если придут. Они должны были сказать, что я передал им этот закрытый на замок чемоданчик с домашними ценностями, на временное хранение, так как боялся хранить их на квартире, которую временно снимал у частного лица. Вечером я встретился со своим другом, который первый мне сообщил об аресте моего знакомого. Сообщивший был железным парнем, абсолютно честным, стойким и беспредельно преданным сионизму. Я просил его предупредить всех своих ребят, чтобы они убрали из дому всю крамолу. Я еще раз проинструктировал его, как вести себя на допросах, так как был уверен, что рано или поздно его вызовут. С другими своими друзьями и знакомыми я тоже провел инструктаж. Одного из них, к счастью, за несколько месяцев до этого ареста взяли в армию, и он со своим кругом ребят выпал из поля зрения КГБ.

Этот арест изменил все мои планы, и я срочно поехал в Москву предупредить друзей о случившемся. Слежка за мной значительно усилилась и приходилось прибегать к различным маневрам, чтобы как-то оторваться от преследователей. В тот же день я встретился с женой арестованного, чтобы посоветовать, как лучше вести себя на следствии. До этого она препятствовала сионистской деятельности мужа.

Она работала учительницей в школе и через два года собиралась выйти на пенсию. Она очень боялась, как бы ей это не помешало доработать оставшиеся годы. Но ее, оказывается, уже допросили в день ареста мужа. Случилось то, чего я больше всего боялся. Они ее очаровали. Это случилось со многими свидетелями, которые думали, что в КГБ на допросе на них сразу же набросятся с кулаками, грубой бранью, угрозами. Но опытные чекисты были предупредительными, вежливыми, пересыпали свои вопросы шутками, создавали непринужденную, чуть ли не дружескую обстановку. Наивным свидетелям казалось, что это их искренние друзья, которые хотят помочь им и их арестованному родственнику или знакомому. Но тон был дружеским лишь до тех пор, пока свидетели не подписывали протокол допроса. После этого игра прекращалась, и свидетели с ужасом обнаруживали, что они коварно обмануты.

Восторгу ее не было предела. Какие они вежливые, галантные, обаятельные, это уже не те чекисты, которые были в сталинские времена. Они не заинтересованы в аресте ее мужа, и она убеждена, что они искренни. Поэтому лучше всего быть с ними откровенными и говорить всю правду. К счастью, она знала очень немного из этой правды. После суда она, заливаясь слезами, говорила: "Как вы были правы! Кто бы мог подумать, что они могут так жестоко меня обмануть! Как они потом на меня кричали, ругали и грозили самым грубым образом! Куда девался их прежний шарм!" Я узнавал, что вызывали на допросы моих друзей и знакомых из разных городов, но меня пока не трогали. Разумеется, не все знакомые мне признавались, что их вызывали в КГБ и подробно расспрашивали обо мне, так как после допроса их предупреждали: "не разглашать". Дважды вызывали и этого железного парня, но он держался великолепно. Все, о чем мы договорились, он выполнил блестяще. Угрозы и шантаж на него не подействовали. Кагешники приводили конкретные факты, показывали мои фотографии, называли точное место и время наших встреч, но на все это он отвечал твердым "нет!". Вызывали и его отца, но у того уже был опыт — он отсидел много лет в тюрьмах и лагерях в сталинские времена — и от него они тоже ничего не добились. Было ясно, что сейчас они

ведут подкоп под меня, так как вызывали свидетелей, которые ничего не знали об арестованном, но были связаны со мной. Прошло 5 месяцев после этого ареста. Были вызваны десятки свидетелей, но меня пока не трогали, а лишь неотступно следили за мной. Допросили большинство тех, кто был как-то связан со мной. Я чувствовал, что круг сужается. Начали вызывать моих сотрудников, в том числе тех, с кем у меня было мало общего. Было ясно, что, зная о моем опыте, о том, что взять меня старыми методами будет трудно, они старались наскрести побольше показаний, вооружиться множеством фактов, чтобы потом прижать меня в угол и заставить признаться. Зная мужество и честность арестованного, я был уверен, что он выдержит нажим следователей и не расколется. В некоторых свидетелях я не был уверен, но меня несколько успокаивало, что они знают не так уж много. Я чувствовал, что главврач больницы уже в курсе событий. Его отношение ко мне вдруг резко изменилось. Всех свидетелей, как правило, увозили неожиданно с работы или хватали на улице, что само по себе было противозаконным, так как свидетелям полагается заранее прислать повестку. Все время я находился в нервном напряжении, наблюдая каждый день, как они дежурят возле моего отделения, слыша почти ежедневно, что кого-то еще вызвали и допрашивали обо мне. Я хорошо знал, что если еще раз попадусь, то получу срок на всю катушку, и pošлют меня в лагерь особого режима. Я с нетерпением ждал, когда уже, наконец, меня вызовут, и мое положение прояснится. Что меня вызовут, я не сомневался. Наконец, пришел мой черед. В один из дней октября, когда я пришел на работу, меня вызвал начальник отдела кадров и вручил повестку о том, что я должен явиться в тот же день в КГБ к 10 часам утра. Со мной они действовали не так, как с другими, а по закону. Я пришел в хорошо знакомый мне дом, оформил пропуск и переступил порог, не зная, выйду ли обратно. В вестибюле меня встретил старший следователь подполковник Горшков, как он мне представился. В кабинете кроме него находилось еще два человека. Он мне их представил. Один из них — его помощник, второй — зам. главного прокурора республики. Его присутствие с начала до конца на всех допросах еще раз показало, что со мной

они стараются соблюдать законность, зная, что порядок следствия мне хорошо известен. Я был внутренне подготовлен к встрече. Зная по опыту, что их цель — получить нужные показания любыми средствами, я решил категорически отрицать все факты, даже самые мелкие, даже те, которые подтверждаются свидетельскими показаниями и уликами. Известно, что любая попытка на допросе как-то объяснить свои действия, оправдать их, придать им случайный характер или сказать полуправду — всегда в протоколе следователя будет звучать как "да". Если же категорически отрицать все, даже если это выглядит наивно и неправдоподобно, даже если это воспринимается как нахальство, то "нет" всегда останется "нет". Я твердо решил придерживаться этой тактики, зная, что при нынешней ситуации лишь она даст мне шансы избежать ареста. Вначале они вели общие разговоры, расспрашивали о работе, о личной жизни. Я их сразу же прервал: "Я в этих стенах не новичок, как вам известно, и знаю, что вас меньше всего интересует моя личная судьба, работа и семейная жизнь. Поэтому я предлагаю опустить вступление и перейти к делу". Они последовали моему совету, и начали сразу допрашивать об арестованном. Я ответил, что знаю его, иногда бывал у него дома, но ничего больше. Тогда они начали сыпать такими подробностями, которых кроме него никто не знал. Вначале я думал, что это результат подслушивания. Мне не хотелось верить, что он раскололся. Я твердо придерживался своей тактики и все категорически отрицал. Мне приходилось грубо врать, изображать из себя нахала и циника, но понимание того, где я нахожусь и с кем разговариваю, нравственно меня оправдывало. Это продолжалось до 6-ти часов вечера. Старший следователь выписал мне пропуск: "Сегодня я вас отпускаю. Идите домой. Но еще раз подумайте — своим тупым упрямством вы сами роете себе могилу". Я вышел обессиленный от того огромного напряжения, которое потребовалось, чтобы выдержать их натиск. На улице меня ждали ребята. Я их ввел в курс дела и поехал домой отдыхать. На завтра продолжалось то же самое — новые факты, новые доказательства. Мое упрямство выводило их из себя. Они запретили мне курить, а я, в свою очередь, отказался отвечать. Я требовал, чтобы они писали

протокол слово в слово, как я им говорил. Иногда следователь со злобой рвал протокол и предлагал мне самому записывать свои ответы. Он кричал, что он не мой личный секретарь. По всему видно было, что они стараются связать меня с другими городами, особенно с Ригой. Но в Риге мы договорились, что я знаю лишь двух человек, с которыми сидел вместе в лагере, а с остальными рижанами не знаком.

По всему чувствовалось, что мой следователь — специалист по еврейскому вопросу. Он прекрасно знал историю советского еврейства, знал многих еврейских деятелей. На стене в его кабинете висела огромная карта Ближнего Востока. Как-то он мне говорит: "Ну что ваша литература! Книжонки, брошюрки, какие-то рукописи. У меня вот есть книжки получше", и, открыв огромный сейф, вытащил оттуда стопку израильской литературы на иврите, идиш и русском языках. "Вот видите, при случае я бы мог вам дать почитать ее. А здесь, между прочим, есть много интересного". Я ему отвечаю: "Можете не сомневаться, что такого случая вам не представится".

Так продолжалось день за днем, с десяти утра до шести вечера. Я выходил из этого здания настолько измотанным, что в автобусе по дороге домой засыпал от усталости. Но вместе с тем у меня было чувство удовлетворения, что и сегодня я выстоял под их напором, что им не удалось меня сломать, поймать на слове, что мне удалось обойти все расставленные ими хитроумные ловушки, которые они заранее приготовили. Мне все не хотелось верить, что арестованный раскололся, и я требовал очной ставки. Я говорил, что хочу услышать все это от него самого. Они мне говорили, что очная ставка будет не в мою пользу. Увы, они оказались правы. На пятый день допроса, после очередной неудачной попытки прошибить меня, они устроили мне очную ставку с арестованным. На очной ставке присутствовал старший следователь Горшков, его помощник и зам. главного прокурора республики. Они меня предупредили, что я не имею права непосредственно разговаривать с подследственным. Все вопросы и ответы я должен передавать только через старшего следователя, который вел очную ставку. Говорить я могу только с его разрешения. Все это было мне известно и раньше. Ввели в кабинет арестован-

ного. Увидев меня, он растерялся, покраснел, потом побледнел. Он отек, зарос щетиной, тяжело дышал, глаза — бегающие. Вид у него был весьма жалкий. Его усадили, и очная ставка началась. Вначале его спросили, знает ли он меня. Он ответил, что знает. На тот же вопрос, заданный мне, я ответил то же самое. Спросили его, в каких мы были отношениях. Он ответил — в дружеских. Я ответил — в хороших. Затем подполковник, обращаясь к арестованному по имени-отчеству, спросил: "Скажите нам, какую идеологически вредную литературу давал вам Рубин?" Я допускал, что его обманули, что агентурные данные ему преподнесли как мои показания, а он, полагая, что я все равно рассказал им все, решил тоже ничего не скрывать и рассказать все, как было. Поэтому я решил в нарушение очной ставки и невзирая на последствия, предупредить его, что я ничего им не сказал. Я надеялся, что тогда он откажется от своих показаний. Он еще не начал отвечать, как я вместо него, изображая возмущение, быстро ответил: "Никогда ничего подобного я ему не давал". Тут все они вскопили и заорали: "Замолчать, прекратите балаган! Вы прекрасно знаете правила очной ставки!" Посыпались угрозы. Но главное было сделано — он узнал, что я им ничего не рассказал и все отрицаю. Когда они немного успокоились, Горшков, который вел очную ставку, еще раз повторил ему вопрос. Последовала довольно длинная пауза и... мой знакомый начал все рассказывать с такими подробностями, каких я сам уже не помнил. Он точно называл, когда и что я ему приносил, называл страницу, где была какая-нибудь опечатка, цитировал, что я ему при этом говорил. Я был ошеломлен. Он подробно рассказал, как мы с ним познакомились, кто нас познакомил, и тоже со всеми деталями. После того, как он окончил, Горшков обратился ко мне: "Ну, что вы можете на это сказать?" Я ответил, что это просто оговор, что я не понимаю, почему он меня оговаривает, но все, что он здесь излил, является от начала до конца выдумкой. Арестованного увели, и Горшков еще раз спросил меня, как я сейчас смотрю на все это, после того, как они удовлетворили мою просьбу и дали очную ставку. Я повторил, как и прежде, что все это клевета, а почему он клеветает, я и сам не понимаю. "Я считал его честным человеком, а что вы

здесь с ним сделали, для меня является загадкой". Мне угрожали: пока еще разговаривают со мной как со свидетелем, а не как с подсудственным, но положение может измениться. Грозили, что им ничего не стоит отменить мою прошлую реабилитацию. Один звонок в Москву, в Верховный Суд, и реабилитация будет отменена. Вместе с тем они похвалялись своим либерализмом — мол, если бы это было 10 лет назад, когда меня в первый раз арестовали, то я давно бы уже был в камере, а не дома. Я им отвечал, что понимаю, что нахожусь в их руках, что их власть почти неограничена. "Вы можете сделать со мной все, что вам угодно, но я вам в этом помогать не намерен. Если вас не устраивают мои ответы, то не пишите их, а если пишете, то пишите только то, что я вам отвечаю". Иногда они старались расположить меня к себе, пытались беседовать по-дружески, делали мне комплименты, но все это было дешевой игрой. Допросы превратились в своего рода соревнование — кто кого. Они прекрасно понимали, что я неискренен с ними, так же, как и они со мною. Соревновались, кто выдержаннее, хитрее, ловчее. Когда меня попросили рассказать им что-нибудь просто так, не для протокола, то я им прямо сказал, что еще в прошлый мой арест я твердо усвоил первую заповедь заключенного — не верь следователю. Он вскопчил и заорал: "Это вы из Мордовии привезли!" Я говорю: "Да, из Мордовии. Я должен быть вам благодарен, что так хорошо усвоил мордовскую науку". И еще я его поблагодарил, когда он меня упрекнул за визиты к своим друзьям-единомышленникам в других городах: "Это тоже благодаря вам, благодаря Мордовии у меня появились друзья в разных городах Союза. И сейчас у меня есть куда и к кому поехать".

По городу распускали самые невероятные слухи. Говорили, что готовится процесс над евреями, что евреи собирали деньги и золото и переправляли его в Израиль, что корабль "Эйлат" был куплен на собранные евреями деньги, и еще всякое.

На шестой день, в конце допроса Горшков, уже окончательно выйдя из себя, заявил: "Все, я отказываюсь иметь с вами дело. Пусть теперь вами занимается прокуратура и руководство комитета". Я ушел. Ушел, но мое состояние было по-прежнему напряженным. Дело мое еще не было закончено, и они вполне могли вызвать меня на суд и там —

прецеденты были — взять под стражу. Но во всяком случае я убедился, что моя тактика подпольной работы и поведения на следствии полностью себя оправдала. Многие ребята, которые не были связаны со мной прямо, остались вне поля зрения КГБ. Их не допрашивали, и у чекистов было меньше возможностей получить на меня дополнительный материал. Инструктаж, как вести себя на допросах, тоже существенно помог. Если у ребят хватало воли и мужества выдержать нажим следователя, то они ошибок не делали. Многие вели себя исключительно мужественно. Мое поведение объясняется моим опытом. Но другие встречались лицом к лицу с КГБ впервые, были среди них и студенты, которые знали, что даже в лучшем случае их выгонят из института. Несмотря на это, они держались прекрасно. Я убежден, что спасло меня на следствии мое упрямое "нет" — не был, не говорил, не знал. Это надежнее, да и легче. Если будешь умничать, лавировать, говорить полуправду, то в итоге в протоколе окажется "да". Я усвоил простую истину: если дашь дьяволу палец, то он всю руку отхватит. После окончания следствия прошло почти два месяца. Все время мое положение было неясным. Все, что мне удалось узнать через знакомых адвокатов — это то, что на меня было частное определение. От неопределенности, постоянной слежки и напряжения я ужасно устал и ждал хоть какого-нибудь конца. Суд назначили на декабрь. Многие свидетели получили повестку явиться на суд, но не я. Тогда я понял, что дело мое закрыли. Вызывали свидетелей, которые дали показания, но так как я показаний никаких не давал, то смысла вызывать меня на суд не было. Но я, конечно, все равно пришел на суд, хотя в зал судебного заседания меня не впустили. Стоя за дверью, я слышал, как адвокат подсудимого старался всю вину свалить на меня. Вызывали много свидетелей с прежней работы подсудимого, его знакомых, которых я даже не знал. Многие из них вели себя не лучшим образом. Некоторых из них выгнали с работы, были среди них и коммунисты, которых исключили из партии. Защита собрала все прошлые заслуги подсудимого, все награды. В свое время он создал в Белоруссии всю энергосеть, у него было много трудовых орденов и грамот. Суд учел это, а также его пожилой возраст, и ограничился полутора годами лагерей строгого режима.

Убирайся в свой Израиль

После вынесения приговора я побежал к телефону звонить в Ригу о результатах суда. В ответ мне сообщили приятную новость — начали давать разрешения на выезд в Израиль. Я бросил все и поехал в Ригу. Вся еврейская Рига была возбуждена, многие затребовали вызовы. Организовывались шумные проводы, все разговоры были только об Израиле, об алие. Я проводил кое-кого из своих друзей и просил, чтобы мне срочно выслали вызов. Через три недели я его уже получил и сразу же пошел в минский ОВИР: "Вы принимаете документы на выезд в Израиль?" Мне отвечают: "Да, принимаем". Я спрашиваю: "Но ведь еще недавно не принимали?" — "Да, — говорят они, — раньше не принимали, а теперь есть указание принимать". Я тут же взял все анкеты, которые нужно было заполнить, узнал, какие еще требуются документы, и запустил колесо оформления. Я забегал по разным организациям для получения всяких справок. От меня потребовали, чтобы я уладил свои дела с пропиской, потому что был прописан по одному адресу, а жил по другому. Сделал нужные фотографии, уплатил необходимую сумму денег — благо тогда евреев продавали еще по дешевке — всего по сорок рублей за голову. Необходима была характеристика с места работы — как будто это имело для ОВИРа значение: если хорошо работал, то выпустят, если плохо, то нет. Или наоборот. Руководство больницы было уже в курсе дела, и на мою просьбу о характеристике дало положительный ответ. Было устроено совещание — главврач, парторг, председатель месткома и заведующий отделением. Характеристику написали, но на руки мне ее не дали, а сказали, что отвезут в ОВИР. Из суеверия я не стал готовиться к отъезду раньше времени, а решил, что начну собираться тогда, когда получу официальное разрешение. Через две недели после подачи документов я уже узнал, что мне разрешат выехать. У меня был приятель, который работал на секретном заводе. Через две недели после подачи мною документов его вдруг вызвали в первый отдел завода, то есть в местный отдел КГБ. "Вы знаете Рубина?" — "Да, знаю". — "Что он из себя представляет?" Мой приятель охарактеризовал меня положительно,

обойдя, конечно, мои убеждения. Тогда кагебешник ему говорит: "Да, нам известны все эти его достоинства. А знаете ли вы, что он человек нехороший и опасный? Знаете ли вы, что он уже отсидел шесть лет за государственные преступления? В этом году он опять напрашивался получить срок. Но мы, собственно, вызвали вас, чтобы сообщить вам следующее. Скоро он уезжает в Израиль, и уедет навсегда. Вы, конечно, понимаете, где вы работаете, что представляет собой наш завод. Если будет малейшая утечка информации, то, понятно, вся ответственность ляжет на вас". Через день я узнал об этом разговоре, но все же готовиться к отъезду не стал. Мои вещи были разбросаны по разным квартирам. Их надо было рассортировать, отобрать нужное. Хотя принципиально вопрос о моем выезде был решен уже через две недели, но все оформление было затянуто, и лишь через два с половиной месяца мне сообщили, что вопрос мой решен положительно, и я могу завтра прийти за визой. Я сразу же побежал на работу увольняться. Позвонил друзьям, что получил разрешение, и считал, что одной ногой я уже в Израиле. Но когда на завтра я пришел за визой, начальник ОВИРа вдруг говорит: "Знаете, вопрос о вас, оказывается, окончательно еще не решен. Завтра должна быть еще одна комиссия, и она решит вашу судьбу". Можно представить мое состояние. Я никогда не чувствовал, где у меня сердце, но здесь оно у меня так сжалось, что я едва удержался на ногах, схватившись за край стола. Кое-как пережил ночь, а на следующее утро побежал снова в ОВИР. Там часа два мне пришлось ждать приема и, наконец, начальник ОВИРа вызвал меня к себе в кабинет. Когда я вошел, он сказал: "Ну вот, все". У меня сердце снова екнуло: что все? "Вам разрешили уехать". И со злобой: "Лучше убирайся в свой Израиль, чем отравлять здесь сознание советской молодежи".

Мы уже знали, что активистов отпускали легче. Власти хотели избавиться от активистов еврейского национального движения, обезглавить его, но было уже поздно. Национальное возрождение началось, и ничто уже не могло остановить его. На месте уехавших активистов появились новые, которые намного превзошли своих предшественников.

Обычно уезжающим давали по 2 месяца на сборы. Мне же почему-то дали всего 12 дней, но визу я получил на день позже, выехал на день раньше, а из оставшихся 10 дней 3 дня ушли на передачу кабинета на работе, 3 дня на поездку в Москву для оформления визы и других документов, и на сборы у меня осталось всего 4 дня, 4 дня — а я еще не начинал собираться. После подачи документов я строил планы из расчета, что у меня будет 2 месяца на сборы. Я хотел съездить во многие города попрощаться с друзьями, все обговорить и обсудить. Но КГБ именно этого не хотел. Как только я сдал свой кабинет и уволился с работы, я поехал в Москву, оформил визу в голландском и австрийском посольствах, обменял 90 рублей на доллары и отправился за билетом. Я не хотел брать билет на последний день, так как если по какой-либо причине самолет не сможет вылететь, виза будет просрочена. Поэтому я взял билет на предпоследний день. В Минске я колесил на такси по городу, собирая свои вещи. Сидел ночами, сортировал бумаги, распределил, что кому отдать. Вещей у меня набралось два чемодана, с ними я и приехал в Израиль.

Я на такси разъезжал по городу, чтобы попрощаться с друзьями. Забегу минут на 20, запишу все, что надо, расцелуюсь и на той же машине еду к следующему.

Несмотря на то, что я почти со всеми друзьями распрощался, многие из них пришли на вокзал проводить меня. После Шестидневной войны я был первым, кому посчастливилось получить разрешение на выезд. Люди тогда еще не привыкли к проходам, не знали, как будут реагировать власти. И они знали, что провожают меня не только друзья, но и кагебешники. Но это их уже не пугало. Некоторые на завтра прилетели еще и в Москву на проводы. В Москве меня встретили московские друзья. Приехали проводить меня друзья и из других городов. У многих из них было смешанное чувство радости за меня и белой зависти. Проводы в Москве устроили большие, шумные. Были речи, пели израильские песни, танцевали — все это продолжалось до поздней ночи. Возвращались мы домой последним поездом метро и в нем продолжали петь израильские песни и танцевать. У нас был портативный магнитофон с израильской музыкой, который звучал на полную мощность — и все

это мы делали открыто, не скрывая своих чувств. Провожали меня не только евреи, но и русские друзья.

Я родился евреем и хочу остаться им. Все, что связано с еврейством, мне дорого и близко, ибо это мое, как и я частица его. Я хотел бы видеть свой народ могучим, единым, лишенным каких бы то ни было пороков, но я люблю его таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Я никогда не считал и не считаю, что евреи лучше других, я никогда не умалял достоинств других народов, я просто лютей враг антисемитизма. А то, что некоторые народы в своей массе являются антисемитскими, так это уж не моя вина. Вместе с тем мне чуждо и противно, когда некоторые еврей-обыватели прикрывают свою посредственность именами великих соплеменников.

Назавтра утром еще раз проверяю все записи и бумажки. Приходят все новые и новые люди, дают свои адреса для вызова. Все просят не молчать там, сделать все возможное, чтобы помочь им уехать. Они хотят услышать голос солидарности своих братьев, голос этот должен не умолкать и быть принципиальным. Я прекрасно понимал их. Не раз я испытывал чувство одиночества и заброшенности, а это — самое тяжелое чувство. Только тогда, когда евреи в России будут знать, что они не одни, что у них есть братья, которые думают о них, которые делают все возможное для их спасения, — только тогда у них будут силы, стойкость и надежда. Помню, после выхода книги Симонова "Живые и мертвые" в военной академии им. Фрунзе проходила читательская конференция. Автор тогда между прочим сказал (цитирую по памяти): "Остается психологической загадкой, как крупные военачальники, прошедшие подпольную борьбу в царской России, участники гражданской войны, люди, которые, оказавшись они в немецком плену, могли бы выдержать самые нечеловеческие пытки, как эти люди, которым никак нельзя отказать в мужестве, оказавшись в советской тюрьме, были совершенно морально разбиты. Они оговаривали себя, друг друга, своих близких друзей, дети — своих отцов и жены — своих мужей". И он добавил: "Чувство одиночества и покинутости, отсутствие моральной поддержки парализовало их волю, силы, самообладание".

Прощай, родина-мачеха!

После того, как я все записал, мы поехали в Шереметьево. Там уже ждала меня большая группа друзей и знакомых. Прощаюсь с друзьями. Последние объятия, поцелуи и наставления. На просмотре багажа я раскрыл свои чемоданы, сумки, и как будто все прошло нормально. Вдруг кто-то подошел к проверяющей мои вещи таможеннице и что-то шепнул ей на ухо. Она спрашивает: "Вы будете Рубин?" — Я говорю: "Да, я". — "Тогда пройдите еще в ту комнату". Но вещи, поставленные на конвейер, уже уплыли за ограду. Я вошел в указанную комнату лишь со своей папкой, в которой были билеты и документы. Мне велели раздеться почти догола и устроили шмон не хуже тюремного. Но при мне уже ничего не было такого, что бы могло их заинтересовать. Единственное, что они у меня изъяли — протокол обыска во время моего ареста. Но это было уже не столь важно для меня. Объявили посадку на мой самолет. Мне велели быстро одеваться и идти на посадку. Когда я вышел из комнаты, меня ждал один из моих друзей, которому удалось проникнуть за ограду, где находились пассажиры после таможенного досмотра. Он мне предложил взять с собой сверток с проявленными фотопленками. Я знал об этих пленках, знал, что на них имеется гриф "секретно" и шапка Комитета госбезопасности. Этот сверток мог мне стоить 10 лет, но в тот момент я совершенно не думал о тюрьме, а лишь о том, что одной ногой я уже в Израиле, и вот могу лишиться этого, быть может единственного шанса в жизни попасть на родину. Но все прошло благополучно, сверток был привезен мною без каких-либо осложнений.

Я прошел последнюю пограничную проверку и вышел на летное поле. В аэропорту есть специальный грибок, на котором стоят провожающие, там были мои друзья. Они пели песни и махали мне на прощанье — но уже как израильтянину. Автобус отвез меня к самолету австрийской авиакомпании. Я поднялся по лестнице, посмотрел в последний раз на "родину"-мачеху и вошел в самолет. Я сел на свое место, и все еще не верилось, что я уже на свободе. Вскоре взревели моторы, самолет взял старт, набрал скорость, и я оторвался от "родной" земли.

Август 1972 года, Иерусалим